

ISSN 0130-9730

**Филологические
науки**

3*1991

Государственный
комитет СССР
по народному
образованию

НАУЧНЫЕ
ДОКЛАДЫ
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ

Филологические науки

Журнал выходит 6 раз в год

3*1991

Издается с 1958 года



Москва
«Высшая школа»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

П. А. НИКОЛАЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

В. П. Аникин
А. Г. Бочаров
Н. С. Валгина
Е. М. Верещагин
Г. Г. Виноград
(зам. главного редактора)
В. С. Виноградов
В. Г. Гак
Б. П. Гончаров
В. И. Гусев
Вал. В. Иванов
Г. К. Косиков
Л. Ю. Максимова
Ю. В. Манн
А. В. Михайлов
Н. П. Михальская
П. Г. Пустовойт
М. К. Румянцев
Г. В. Чернов
И. И. Чернышева
В. Н. Ярцева

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

- А. В. Михайлов. Литературоведение и проблемы истории науки (Статья первая) 3
Р. О. Охунов. Искусство характера в романе И. С. Тургенева «Дым» 12
С. И. Кормилов. О восприятии русской метризованной прозы в XIX в. (к исторической специфике ритмического ощущения) 18
И. Е. Медвецкий. Модель игрового сознания в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» 28
Г. К. Васильев. Страница из рассказа Набокова «Весна в Фиальте» (опыт лингвистического анализа) 33
А. Б. Копелиович. Категория лица и грамматический род 40
М. Л. Каленчук. Об орфоэпической вариантности 50
А. А. Караванов. Семный состав ограничительных глаголов с приставкой «по-» (синхронный и исторический аспект) . . 57
В. Н. Обухова. Проявление признака предельности в функциональной корреляции «первичный имперфектив — вторичный имперфектив» 67
Е. Е. Анисимова. Коммуникативно-прагматическая характеристика типа текста «политический плакат» (на материале немецкого языка) 72

Старший редактор
О. В. Шапошникова

Адрес редакции:
103009, Москва, К-9,
просп. Маркса, 18
Тел.: 203-36-23

- А. А. Бурцев.** Проблема характера в рас-
сказах С. Моэма 80
Л. А. Черницкая. Художественная система
Натали Саррот как явление литературы
авангарда (на материале романа «Портрет
Неизвестного») 86

Материалы и сообщения

- П. Г. Пустовойт.** Изучение русской лите-
ратуры в странах Восточной Европы (по
материалам конгрессов МАПРЯЛ и съез-
дов славистов) 96
М. С. Ефременков. Краевед и фольклорист
В. Н. Добровольский 103
Ю. А. Зацный. Социальные факторы и сло-
варный состав диалекта афроамериканцев 107

Критика и библиография

- Н. С. Выгон.** В. В. Агеносов. Советский
философский роман. М., Изд-во МГПИ
им. В. И. Ленина «Прометей», 1989 112
С. Н. Кузнецов. В. И. Тюпа. Художествен-
ность чеховского рассказа. М., Высшая
школа, 1989 114
Ю. В. Попов. Probleme der Textlinguistik.
Hrsg. H. Yachnow, A. E. Suprun. München:
Verlag Otto Sagner, 1989 116
Е. С. Кубрякова. А. М. Шахнарович,
Н. М. Юрьева. Психолингвистический ана-
лиз грамматики и семантики. М., Наука,
1990 119
Л. Я. Маловицкий. В. К. Харченко. Пере-
носные значения слова. Воронеж, Изд-во
Воронежского ун-та, 1989 121

Научная жизнь

- С. Н. Бройтман.** Бахтинские чтения в
Махачкале 123
В. Д. Бондалетов, Т. Б. Трошева. совеща-
ние «Статус стилистики в современном
языкознании» 124
В. С. Каргавенко, И. А. Королева. Респуб-
ликанское координационное совещание
по исторической лексикологии русского
языка и русской исторической лексико-
графии 126

СТАТЬИ**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ НАУКИ**

(Статья первая)

А. В. Михайлов

История науки о литературе — эта область знания в наше время весьма недостаточно развита, причем не только у нас в стране, но и за рубежом. Исследования по истории науки недооцениваются и, как правило, признаются (осмысляются сознанием) как вспомогательные для науки, как дополнительные по отношению ко всему тому, чем занята она в первую очередь, а потому и не столь обязательные для нее. Кому-нибудь представляется, что все исследования и публикации по истории литературоведческой науки словно складываются в некий довольно-таки пыльный архив, прибрегаются впрок для какого-нибудь очень любопытного человека, который, быть может, когда-то извлечет из всех этих материалов пользу для дела, хотя это, собственно говоря, весьма маловероятно.

На самом деле соотношение истории науки о литературе с другими отделами литературоведения может быть совсем иным, и оно даже и сейчас внутренне совсем иное, чем это продолжает по инерции рисоваться нашему сознанию. Мне уже приходилось писать о том, что история науки о литературе может и должна была бы стать одним из главных, если не основным источником умножения и удостоверения наших знаний о литературе¹. Все это, с одной стороны, предопределяется положением литературоведения в кругу наук о культуре: история культуры заключает в себе общую логику того знания, фрагментом которого, со своим особым устройством, является литературоведение. А с другой стороны, все это делается возможным и обуславливается новой ситуацией в культуре (причем в мировых масштабах), новым самоосмыслением, самоисследованием культуры в теснейшей взаимосвязи и в единстве с новым пониманием истории.

Вот именно такое новое понимание истории и заставляет нас по-новому же осознавать роль истории науки в литературоведении.

Однако в чем же суть этого нового понимания истории? Прежде всего предварительно отмечу, что понимание такое идет не от умозрительной установки на поиски новизны, не от каких-либо методологических и прочих размышлений теоретического толка, но от реального жизненного опыта. Необозримо огромный жизненный опыт обобщается на протяжении весьма длительного времени, и наконец начинают выступать и осознаваться контуры крайне существенного исторического поворота. Поворот совершается на уровне того, что названо у меня² историко-культурными аксиомами; их нельзя придумать, но нельзя и не следовать им, если они направляют в определенное русло всю человеческую жизнедеятельность, неотрывную от непрестанного своего самоосмысления; аксиомы, которым в определенную историческую эпоху следуют люди, и осознаются по-настоящему лишь тогда, когда эта эпоха собирается уже отходить в прошлое и потому складываться в более отчетливое и ясное целое.

А теперь о сути глубинного исторического поворота, насколько он уже начал обозначаться в сознании: история заново собирается воедино, а все неотмыслимое от нее временное преобразуется в своего рода пространственность; отступает на задний план развитие, предполагающее смену временных моментов и отживание одних, отодвигаемых в прошлое, наступление иных, имеющих над ними даже в чем-либо превосходство и большее право на существование, а на передний план выходит складывание всех этих временных моментов в своего рода единовременность.

История, таким образом, перестраивается в пространственность и единовременность (оба эти слова, не будучи буквально точными, буквально и вполне точно характеризуют направленность всеобщего переосмысления истории). А в пользу общезначимости такого перестраивающего прежний привычный образ истории процесса свидетельствует то обстоятельство, что ему способствует решительно все — от теоретических усилий осмысления всего того, что творится в глубинах человеческого самоосмысления, до банальнейшей поверхности потребительской массовой культуры, где культура, подвергшаяся коммерциализации, предстает как множество товаров, абсолютно безразличных к какой бы то ни было истории — к какой бы то ни было органичности, последовательности развития. И высокое, и мелкое, и значительное, и малозначительное — все трудится ради нового образа истории и уже внутренне определяется им. С таким новым образом истории не так-то просто теоретически освоиться, однако для всех нас это трудности освоения самих себя, т. е. своей же неясной до конца, не реализовавшейся еще сущности.

Разумеется, такой новый образ истории не упраздняет прошлого (своей «единовременностью» и «пространственностью»), не уничтожает дистанции между временами, эпохами, однако он настоятельно требует совсем иначе трактовать все временные удаления.

Здесь решительно смещаются акценты: всякое «прошлое» здесь — *наше* прошлое, с решительным подчеркиванием в этом сочетании слов «наше прошлое» слова «наше». Потому что всякое прошлое, сколь угодно давнее, сколь угодно малоисследованное, остается, во-первых, сопряженным с нами и всегда остается в нашем мире, в нашем окружающем, а во-вторых, оставаясь в нашем мире и пребывая, таким образом, с нами (пусть не совсем «рядом», а на известном удалении), любая эпоха прошлого никогда не бывает окончательно завершенной и в буквальном смысле слов ушедшей в прошлое. Нет, совсем наоборот, всякая эпоха прошлого и (например, любой исторический факт) остается незавершенной, пребывает в процессе своего осмысления и, находясь *в одном* с нами пространстве, так или иначе касается нас, затрагивает нас.

В таком пространстве истории даже и все прошлое, даже и все «ушедшее в прошлое» обретают бóльшую значимость, существенность, действительность, ни о каком факте нельзя сказать, что он снят, преодолен, превзойден и отменен последующим развитием: даже и всякий факт, будучи по-прежнему осмысляемым, обладает известной самоценностью, однако в первую очередь и по преимуществу это следует сказать о духовной стороне вещей и явлений: ведь и отдельный факт непреходящ именно своей смысловой стороной, и тем более непреходяще все историко-культурное, всякое «прошлое» и «настоящее» состояние умов, все создания культуры и вообще все запечатлевшее в себе человеческий дух.

В новом образе истории даже и та вера, которую мы не разделяем, становится неотъемлемым и непреходящим моментом единой историко-культурной пространственности, к которой принадлежим мы, а все «примитивное» уже не удостаивается высокомерного взгляда (с позиции «развитого» человечества), и ему возвращается достоинство заключенной в «примитивном» первозданности. Ничто уже не захлестывается и не сминается здесь пресловутым прогрессом. Я, естественно, говорю сейчас не об идеальном строе нового образа истории как уже окончательно установившегося (что было бы совершенно nonsensico уже по самым его посылкам), но о том, как, в каком направлении такой образ истории в наше время устраивается, складывается. Очень важно для нас то, что в таком образе истории всякое культурное достояние ревалирируется — наделяется присущей ему актуальностью и существенностью.

Так, и обращаясь теперь от культуры в масштабах всей истории к совсем краткой и фрагментарной истории науки о литературе, мы, следуя подсказкам нового, складывающегося образа истории, имеем перед собой в науке о литературе не какую-то смену одних методологически-несовершенных «концепций» литературы и ее истории другими столь же несовершенными или, быть может, более совершенными (если верить в какой-либо прогресс), но мы видим перед собой подлинное богатство закономерно-различного, и вот это богатство,— конечно, и не завершенное по сути, и не

окончившееся, не окончательное,— и есть само наше знание о литературе.

Если же мы в истории науки естественным образом встречаемся по большей части с тем, что нас не удовлетворяет и не устраивает, потому что мы понимаем литературу иначе, то все это не устраивающее нас — вновь в нашем окружении: как возможность иного, как *наше* (т. е. касающееся, затрагивающее нас) иное, т. е. то, что вместе с нами (хотя иначе, мы) вращается вокруг того же самого, занимающего нас смысла литературы. Все это иное, выстраиваясь и перестраиваясь вокруг нас по определенной внутренней логике, дает нам дополнительный путь к смыслу — через усвоение сути *своего* в сопоставлении с *иным*.

А кроме этого, вот еще почему и первым делом столь существенна история науки — она существенна как самый верхний слой самой литературы, как самый верхний слой того же самого, что есть литература. А если это так, то, углубляясь в историю науки, мы углубляемся и в то самое, чем заняты, т. е. в саму же литературу — в ее определенном закономерном рефлексе, в ее саморефлексировании. Что это значит? Я исхожу из того, что уже и «сама» литература есть внутри себя саморефлексия, а в то же время из того, что любая сколь угодно умозрительная и отвлеченная теория литературы вырастает, как из зерна, из этой заключенной в «самой» литературе саморефлексии. В таком случае подразумевающая рефлексия относительно всякой теории литературы история литературоведческой науки и будет именно верхним слоем литературы. Или, иначе говоря, конечным произведением того, что было заложено в литературе и постепенно отслаивалось от нее, как литературно-критическая мысль, история литературы как дисциплина, теория литературы и т. д. Вот такое представление о сплошном переходе от литературы к истории науки о литературе кажется первостепенным по значению; в частности, всякая мысль о литературе встает при таком понимании всего литературного поля в естественную зависимость от литературы и лишается права быть (как это часто происходит) какой-либо чужеродной конструкцией, порабощающей литературу и навязывающей ей свой смысл.

Итак, чрезвычайно важно констатировать, что уже сама литература есть саморефлексия, в которой — пусть даже неосознанно ни для кого — «плавает» то «что», в качестве какого выступает некий текст (обращу еще внимание на то, что в этом нашем предложении, как и во всех подобных случаях словоупотребления, слово «текст» есть не что иное, как просто замена наиболее общего «что», так сказать, перевод такого «что» в более привычную и осязательную сферу, перевод его на более привычный язык, и не более того). Все «литературное поле» даже чуть шире собственно «литературного» и «текстового». Пусть «текст» будет устным, пусть даже он будет весьма неопределенным по своим очертаниям устным рассказом, пусть он будет, например, сказкой, какую дед или бабка рассказывает своему внуку между делом, всякий миг отры-

ваясь на иные дела и разговоры, и пусть даже они на худой конец рассказывают свою сказку неумело, неловко и самым невыразительным языком,— все равно в пределах самой житейской ситуации, без всяких слов по этому поводу, обособляется (отличаясь от всего иного, его перебивающего) это *что* своего особого смысла и назначения, оно шире «литературы», потому что не имеет дела ни с какой буквой, но оно уже входит в орбиту того, что позже определится как литература, как литературное, поэтическое творчество. Это «что» и обращается с вопросом к себе неслышно и незримо и равно неслышно и незримо отвечает на него своим бытием и своей вычлененностью среди всего иного, окружающего.

Мы еще могли бы дополнительно убедиться в том, что такое протолитературное примитивное «что» существует не за семью морями и семью горами от нас, а существует с нами и сейчас — хотя бы во всех бесчисленных попытках рассказывать друг другу о каких-то событиях, жизненных эпизодах, случаях с их относительной фабульной завершенностью и т. п., и это притом, что подобные протолитературные «что» возникают вовсе не непременно с чего-то фабульного. Тогда не только теория в виде внутренней рефлексии, в виде внутреннего самоуверения любого литературного «что» в своем бытии и в своей сущности рождается в недрах самой же литературы, но она возникает, если угодно, еще до литературы, так сказать, в протоплазме всего литературного, в таком житейском и обиходном словесном материале, который и окружает нас, и уже выделяется из всей массы окружающего и над которым возвышается здание уже сознательно создаваемой, конструктивно осмысляемой литературы (насколько же сильнее в ней внутренняя рефлексия каждого «что» относительно себя самого!).

Итак, теория возникает в недрах самой же литературы, самого литературного искусства. Это не значит, что эксплицитная рефлексивная поэтика просто проявляет (т. е. вновь выводит в слово) имманентную поэтику, — нет, отношение их многообразно опосредованно и затруднено. Так, поэтика отдельного произведения (сколько примеров можно привести!) может оставаться либо неясной, долгие десятилетия или целые столетия ускользая от своего словесного, теоретического выражения, либо даже непонятной, невнятной, невразумительной на протяжении сколь угодно долгого времени (богата такими произведениями история немецкой литературы). Далее, что еще гораздо важнее: эксплицитно формулируемая, рефлексивная поэтика может сколько угодно расходиться с имманентной поэтикой творчества своего времени, как, например, школьная или академическая теория литературы с практикой современного ей литературного творчества⁴. При этом академическая теория литературы может быть весьма последовательной в своем развитии, складываясь в свою особую, весьма уверенно преподносимую линию, как бы независимую от самого же литературного творчества, от его протекания, от его развития.

Вот пример: неоклассицистическая или неогуманистическая поэтика (и эстетика) конца XVIII и рубежа XVIII—XIX вв. в Германии (К. Ф. Мориц, Шиллер, Гете, В. фон Гумбольдт, при наиважнейшей роли Канта) отражается в конце XIX и на рубеже XIX—XX вв. в немецкой (и не только немецкой) академической эстетике, теории литературы, теории искусства, где заново завоевывают и по-своему глубоко осваивают представление о произведении литературы, о произведении искусства вообще как о замкнутом в себе, автономном целом. Ведь и расцвет школ литературоведческой интерпретации в 1950—1960-е годы опирался на незыблемый принцип замкнутости и автономности поэтического произведения.

Если же принять во внимание, что, с одной стороны, неоклассицистическая поэтика была не просто имманентной, но заключала в себе весьма значительную дозу рефлексии, была уже, собственно, теорией и, например, у Ф. Шиллера в большой степени способствовала умозрительности творчества, что она, как поэтика неоклассицистическая, основывалась на своей глубокой, восходящей к древности традиции, а с другой стороны, рефлексии подобного неоклассицизма в литературном творчестве XX в. были весьма относительно слабы, то можно представить себе, сколь многолики здесь соотношения многократно опосредуемых творчества и теории.

Безусловно, создания развитой литературы, чувствующей себя весьма далекой от каких-либо начал, начатков литературы, может быть, иной раз и напрасно подчеркивающей отстояние свое от всякой примитивности и элементарности, несут в себе не просто это зачаточное протолитературное «что», но и целое множество самых разных теоретических предопределений. В конце концов в эпоху риторики, в эпоху господства риторического слова литературные произведения могут быть просто применениями искусства риторики, чем, правда, еще ничего не сказано о том, что они такое как поэтические произведения; во всяком случае они насыщены и насквозь пропитаны теорией.

Однако ни при каких условиях для поэзии, для литературы не закрыта возможность непосредственного творчества — такой момент непосредственности предполагается даже и самим риторически конструируемым текстом, и именно такая непосредственность, нечто такое, что не рефлектируется автором, такое «что», которое здесь, внутри произведения, наличествует, но не эксплицируется и служит настоящим залогом позднейшей теории, позднейшего обогащения теории (которая поднимается над кругом известных поэтологических правил и рецептов), — теория и проявит это «что», когда осмыслит его, вновь выведет в слово.

Уже этот пример показывает предельную сложность, какую может раскрывать исследователь, который попытается просмотреть, проанализировать на всю глубину теоретические наслоения любой отдельной литературной эпохи — одновременно существующие слои сознания. Это совсем разные слои литературного сознания, которые,

особенно в новое и новейшее время, образуют настоящую полифонию — полифонию, для которой характерна именно самостоятельность голосов. Любая попытка произвести синхронический срез литературы на всю ее глубину обнаружит разновременные истоки и источники различных сосуществующих сознаний литературы, тут сосуществуют, опосредуясь и разными способами сообщаясь между собой, разные времена, и именно такая сосуществующая разновременность собирается в единовременность.

Собирающаяся же воедино единовременность разного указывает в своем пределе на совместное пребывание всех возможных слоев литературного сознания — от предлитературной «плазмы» и до развитых и переразвитых созданий, умудренных опытом всей мировой литературы, от неясно брезжущего на дальнем горизонте «что» литературного произведения до давно отпочковавшейся от непосредственности литературного изощреннейшей литературной теории. Все это наличествует в единовременности и в последние, в наши времена имеет тенденцию к собиранию всех возможных слоев сознания в их исчерпывающей полноте: словно застывшими волнами, вобравшими в себя энергию своего движения и еще хранящими ее, высятся эти напластования словно перед стеной остановившейся истории. А через эти слои и самые разные эпохи литературного движения, отраженные в них, присутствуют в доступном нашему времени литературном сознании.

Ясно, что нашей, а еще более того последующей исторической эпохе выпало на долю обрести совершенно новый, небывалый еще даже и как возможность взгляд на всю историю литературы (и на всю историю культуры) и что взгляд такой — на всю собравшуюся и как бы сгрудившуюся близ своего завершения историю — не был дан даже и на столь недавнем переломе XX столетия.

Так получается, что история науки — это самый верхний слой всего того, что отслаивается от непосредственности литературного творчества и, отслаиваясь, обретает относительную самостоятельность? Это так, однако есть нечто еще более высокое, обширное и всеохватное — это рефлексия, которой объемлется все собирающееся в единовременность литературное и которой ставится под вопрос, в поисках смысла, все когда-либо существовавшее в литературной истории и в новейшее время приобретающее как бы новый способ существования внутри собирающейся воедино единовременности, внутри обретшей свою пространственность истории. И эта рефлексия прорезывает все литературное на его мыслимую глубину.

Совершенно естественно, что в принципиальном плане такая всеохватная рефлексия затрагивает *язык* литературоведения — его терминологию и понятийный строй. Хотя в литературоведении всегда накапливается большая инерция и поэтому очень многое может делаться по старинке, по давно заведенной привычке, все же можно отметить (и с этим, наверно, согласится всякий), что отношение литературоведа к сложившейся терминологии этой науки стало го-

раздо более чутким, чем прежде. Слово «критичный» было бы здесь, на мой взгляд, совершенно неуместным, так как перешедшая к нам по традиции литературоведческая терминология обладает, как представляется, своей субстанциальностью и способностью содержать в себе еще не выявленное нами знание⁵.

Во многих случаях литературоведческая терминология в одно и то же время совершенно произвольна и неприменна, случайна и необходима, и такое противоречие она реально заключает в себе. Вот, кажется, теперь это все более проясняется, а потому внушает здравую мысль отказать от прежде распространенной мании уточнять и выпрямлять термины и понятия науки и вместо этого внимательно вслушиваться и всматриваться в то, что они несут в себе и к чему обязывают нашу мысль. А если во всем сказанном действительно есть свой резон, то это означает, что и в своем верхнем, пронизанном рефлексией и упирающемся в рефлексию слое литературоведения, существенное знание о литературе, сохраняет творческую непосредственность. И, таким образом, рефлексивному «что», содержащемуся уже в самых предлитературных зачатках, отвечает непосредственность (и, стало быть, известная неподконтрольность) творчества в порождаемом литературой рефлексивно-теоретическом слое. И это еще раз говорит нам о единстве всего литературного — о том единстве, которое не противоречит его существенной разнородности как по горизонтали, так и по вертикали истории.

История науки о литературе обретается в теснейшей взаимосвязи с критическим осознанием языка науки: одно органически дополняет и продолжает другое.

В союзе с самым тщательным изучением литературоведческой терминологии в ее истории и самым пристальным вниманием к сути и смыслу языка науки история литературоведения способна стать источником умножения и упорядочивания нашего знания о литературе, она прежде всего может быть способом эксплицирования нашего знания о ней.

Изложив некоторые соображения о современном состоянии литературоведения и о положении и роли в нем истории науки, я хотел бы обратить теперь внимание на новые книги по истории науки о литературе в Германии.

Эти новые работы по истории науки важны не только своей фундаментальностью. Их появление знаменательно, потому что совершенно очевидно, что они обозначили новый, более высокий этап немецкой науки о литературе.

До сих пор, несмотря на значительное в целом число работ и публикаций по истории науки⁶, в немецком литературоведении с 1920 г., со времени появления известного труда Зигмунда фон Лемпицкого⁷, не появлялось обобщающих трудов по истории немецкой науки о литературе⁸. Теперь же они появились, и, что весьма многозначительно, они появились как итог планомерных коллективных усилий, хотя коллективные усилия и увенчались сейчас изда-

нием, во-первых, сборника по истории науки⁹ и, во-вторых, главным образом, двух капитальных индивидуальных монографий, созданных участниками билефельдского проекта по истории науки, которым руководит Вильгельм Фоскамп, в последнее время перешедший из Билефельда в Кельнский университет¹⁰. Монографии Клауса Веймара¹¹ и Юргена Формана¹² отчасти параллельны друг другу по материалу, который разворачивают, однако, вполне своеобразно и с особыми акцентами в каждой из работ. Тот же материал истории немецкого литературоведения рассматривает в своей недавно вышедшей книге, и вновь со своими акцентами, еще один участник билефельдского проекта, восточноберлинский германист Райнер Розенберг¹³.

Симптоматично, что примерно в это же время увидел свет и сборник материалов вюрцбургского симпозиума 1986 г., посвященный терминологии науки о литературе. Построенный по иному принципу, включающий в себя 31 развернутый, как правило, и построенный на привычном для современной немецкой науки широком охвате научной литературы доклад¹⁴, этот сборник тесно переплетается с замыслами названных историко-филологических исследований (в том числе отчасти и по своему персональному составу)¹⁵.

Эти работы нам важно охарактеризовать сейчас хотя бы в общих чертах, чтобы извлечь отсюда поучительный урок для нашей филологии и дать некоторый материал для сопоставлений¹⁶.

¹ См.: Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989.

² См. там же. С. 25 и след.

³ Ср. соответствующие различия у Б. Марквардта: *Markwardt B. Geschichte der deutschen Poetik*. Berlin, 1955.

⁴ Подобные несоответствия и отставания (теоретической поэтики и эстетики от современных ей имманентно-творческих принципов) с показательной ясностью прослеживаются в музыковедении и музыкальной эстетике. См.: Михайлов А. В. Концепция произведения искусства у Теодора Адорно // *О современной буржуазной эстетике*. М., 1972. Вып. 3.

⁵ См. Михайлов А. В. Проблема анализа перехода к реализму в литературе XIX в. // *Методология анализа литературного процесса*. М., 1989.

⁶ Среди них следует отметить сборник, рассматривающий проблематику истории науки в социально-политическом плане с острым взглядом на вещи и массой нового материала: *Germanistik und die deutsche Nation 1806—1848 / Hrsg. von J. J. Müller. Stuttgart, 1974 (Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften, 2)*, со статьями: Müller J. J. *Germanistik — eine Form bürgerlicher Opposition*. S. 5—112; Strippel J. *Zum Verhältnis von deutscher Rechtsgeschichte und deutscher Philologie*. S. 113—166; Götzе К.-Н. *Die Entstehung der deutschen Literaturwissenschaft als Literaturgeschichte*. S. 167—226; и др.

⁷ *Lempicki S. von. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts*. Göttingen, 1920; 2. Aufl. Göttingen, 1968.

⁸ Вот как отзывается об этом хорошо начатом труде К. Веймар: «Лемпицкий исследовал историю в ракурсе проблематики современного литературоведения, а потому его изложение учитывает всевозможные приступы к характерным для его дней способам рассмотрения, мнениям, выводам. Такая генеалогическая историография науки вполне осмысленна, пока наука сохраняет еще хотя бы относительное единство и пока историк в состоянии охватывать своим взглядом ее

современное состояние хотя бы в необходимой для его целей степени. Первая предпосылка теперь уже не существует, а второе требование все менее и менее исполнимо, чем больше заходишь в глубь XIX в.» (Weimar K. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. München, 1989. S. 9). К. Веймар видит трудности под знаком продолжающейся внутри академической дисциплины дифференциации. Однако следует считаться с не столь заметной, но явной, а притом более перспективной и идущей изнутри знания тенденцией к единству.

⁹ Von der gelehrten zur disziplinären Gemeinschaft / Hrsg. von J. Fohrmann und W. Vosskamp // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1987. 61. Jg. Sonderheft.

¹⁰ О В. Фосскампе см.: Контекст — 1990. М., 1990. С. 115—140.

¹¹ См. примеч. 8. К. Веймар — цюрихский профессор, автор весьма основательных и нетривиальных работ; см.: Weimar K. Zur Geschichte der Literaturwissenschaft: Forschungsbericht // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1976. 50. Jg. S. 298—364; Id. Historische Einleitung zur literarischen Hermeneutik. Tübingen, 1975; Id. Enzyklopädie der Literaturwissenschaft. München, 1980.

¹² Fohrmann J. Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte: Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschem Kaiserreich. Stuttgart, 1988.

¹³ Rosenberg R. Literaturwissenschaftliche Germanistik: Zur Geschichte ihrer Probleme und Begriffe. Berlin, 1989. Эта книга примыкает к ранее изданной: Rosenberg R. Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanistik: Literaturgeschichtsschreibung. Berlin, 1981.

¹⁴ Современное немецкое литературоведение резко отличается по своему облику от немецкой науки между двумя войнами: различия разительны! Они свидетельствуют о значительном возрастании общей филологической культуры, о чем можно судить и по другим показателям, например, по резко возросшему уровню текстологической подготовки даже и самых популярных изданий классиков. Широкая осведомленность в научной литературе и библиографическая акрибия сейчас столь же типичны, как типична филологическая неряшливость диссертаций и монографий 1920—1930-х годов (с исключениями в обоих случаях).

¹⁵ Zur Terminologie der Literaturwissenschaft / Hrsg. von Chr. Wagenknecht. Stuttgart, 1988 (Germanistische Symposien; Berichtsbände, IX).

¹⁶ Такие сопоставления настоятельно необходимы, и они не всегда в пользу немецкой науки.

Москва

ИСКУССТВО ХАРАКТЕРА В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ДЫМ»

Р. О. Охунов

Мысль о подчиненности фабулы раскрытию центрального характера, о приоритете характерологии в произведениях Тургенева высказывалась еще современниками писателя¹. Об этом не раз говорил и сам художник². В настоящее время исследователями доказано, что характерология Тургенева претерпевала определенную эволюцию, и это стимулировалось влиянием творчества других писателей. Если в раннем периоде творчества тематическая близость произведений Тургенева и Гоголя «накладывала определенный отпечаток на

характер сходных героев», то в позднем творчестве, изображение, в частности, сатирических персонажей строится «в манере, близкой к Салтыкову-Щедрину»³.

Однако существуют и другие причины, обуславливающие динамику тургеневской характерологии. Важнейшая из них — стремительно меняющаяся действительность, требующая новых способов познания и изображения человека. С этой точки зрения представляет интерес анализ характерологии в романе «Дым», поскольку именно в этом произведении, созданном в сложное переходное время (1866—1867), когда «весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная»⁴, поэтические метаморфозы художественной структуры проявляются наиболее отчетливо.

В настоящей статье обозначены лишь те новые грани тургеневской характерологии, которые впервые наметились в романном творчестве художника и до сих пор оставались вне историко-литературного изучения. Такие средства изображения человека, как авторская характеристика, портрет, предыстория персонажа, его родословная, речевая характеристика, пейзаж, окрашенный настроением героя, и др., в данной статье, разумеется, не затрагиваются, ибо все это в «Дыме» сохраняется и существует в традиционных для романов Тургенева формах. Однако этот диапазон характерологических средств подразумевается нами в качестве контекста, в котором мы попытаемся обрисовать некоторые новые связи и элементы, возникающие в тургеневской поэтике 60-х годов.

В романном жанре особенность построения характера находится в тесной связи со структурой повествования. Выбранный автором тип повествования «позволяет или не позволяет самораскрываться характерам или, наоборот, статику и невыразительность характера компенсировать повествовательной характеристикой и интонацией»⁵. В романе «Дым», на первый взгляд, представлен уже сложившийся у Тургенева тип повествования. Как и в прежних романах, повествующее лицо здесь внесюжетно. Автор свободно варьирует позиции повествователя: посторонний наблюдатель, лишь догадывающийся о том, что происходит в душе героев, может внезапно принять позицию абсолютного авторского всеведения. По-прежнему встречаются открытые обращения к читателю типа «читатель, не угодно ли Вам...» и т. д. Словом, в романе по-прежнему сохраняется традиционная «несоизмеримость и несоотнесенность повествователя с «внутренним миром его рассказа»⁶.

Вместе с тем повествующее лицо в «Дыме» существенно отличается от повествователя предшествующих романов Тургенева. Это отличие прежде всего проявляется в повествовательных тонах рассказчика, передающих различные субъективные интонации и тем самым подчеркивающих авторское отношение к тем или иным персонажам. Наблюдается намеренное разграничение тонов (нейтральный, серьезно-сочувствующий, ироничный и т. д.) по отношению к персонажам. В итоге возникает некая эмоционально-смысловая градация: герои,

пользующиеся авторским сочувствием; герои, освещенные в нейтральных тонах; персонажи, изображенные с иронией и, наконец, откровенно шаржированные, карикатуры. Авторское отношение к персонажам подчеркивается также использованием изобразительных средств, прилаженных к заданной повествователем тональности, усиливающих и дополняющих рисуемую картину. Особенно это ощутимо в изображении сатирических персонажей романа. Характерологически значимые имена, ироничные замечания типа «отменный дворянско-гвардейский запах», небрежно-краткие характеристики («лысый, беззубый, пьяный») и т. д. — все эти элементы, вплетаясь в повествование, участвуют в создании целостного представления об образе.

Другая особенность повествования в романе «Дым» заключается в том, что степень сопряженности повествователя с главным героем по сравнению с прежними романами Тургенева необычайно высока, повествование как бы «прикрепляется» лишь к одному герою произведения — Литвинову. Изображение почти всех сцен и эпизодов романа предусматривает присутствие этого героя. «Прикрепление» повествования к Литвинову исключает ситуацию, когда главный герой дается в рецепции второстепенного персонажа, — ситуация, которая для романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне» была обычной. Кроме того, если в предшествующих произведениях допускалось движение повествования в сюжетном пространстве в момент отсутствия главного героя, то в романе «Дым» повествователь ведет рассказ лишь в пределах того художественного пространства, в котором в это время находится Литвинов.

Такая «прикрепленная» к герою модель хронотопа осуществлена уже в экспозиции произведения, в корне отличной от прежнего типично тургеневского романного начала, где, как правило, до появления главного участника событий уже определялась художественная атмосфера, т. е. мир романа, в котором герою предстояло реализоваться. В первых романах Тургенева это происходило примерно так.

Вначале повествователь представляет читателю персонажей, с которыми будет вступать в сюжетно-фабульные отношения главный герой. Самого героя еще нет (возможно, его упоминают второстепенные персонажи — этот прием был использован в романе «Накануне»), но читатель уже имеет представление об атмосфере, в которой начнут развиваться события, и ознакомлен с действующими лицами — либо частично («Отцы и дети»), либо основательно («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»), и только после такой «подготовки» появляется ожидаемый герой. Главный участник событий, таким образом, предстает перед читателем и персонажами романа одновременно. Последующий ход повествования в этих произведениях таков, что позволяет читателю следить за событиями, протекающими в отсутствие центрального персонажа. Теперь обратимся к роману «Дым».

На первый взгляд I глава традиционно вводит в художественную атмосферу романа. Однако ни одна из представленных повествователем в главе фигур (помещик из Тамбова, князь Коко, граф X., барон Z., смешливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо и т. д.) не имеет никакого отношения к сюжетно-фабульной организации произведения. Это не второстепенные и не третьестепенные персонажи, это даже не «хор». Более того, в ходе повествования многие из них больше не будут упомянуты. Представленные повествователем лица исчерпают свою функцию в пределах I главы — знакомство с баденским обществом путешествующих русских аристократов, собравшихся вокруг «русского дерева» в Баден-Бадене. Иными словами, представленные лица — это «живые обстоятельства», это часть той атмосферы, где уже находится главный герой (в момент повествования он тоже присутствует возле описанного «русского дерева»). С этого и начинается II глава — экспозиция центрального персонажа. Такой переход можно сравнить с известным приемом в кинематографии: камера издала медленно приближается к объекту (баденской публике русских аристократов) — панорамный обзор постепенно суживается и из праздничной толпы, собравшейся вокруг «русского дерева», постепенно крупным планом выделяется сидящий за столиком человек — и вот он заполняет весь экран. Для иллюстрации приведем начало II главы: «В нескольких шагах от «русского дерева», за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом» (VII, 253). Повествователь дает краткую предысторию Григория Михайловича Литвинова, включающую его биографию, родословную, образование — вплоть до цели приезда героя в Баден-Баден (прием авторской ретроспекции — довольно обычный у Тургенева). Читатель уже знаком с героем повествования, и только после этого (время опять «включается») начинается экспозиция второстепенных персонажей. Читатель совместно с героем романа — Литвиновым — начинает знакомиться с остальными персонажами (Бамбаев и Ворошилов — гл. III; Губарев и его кружок — гл. IV; Потугин — гл. V, а в конце гл. III перед Литвиновым мельком проходит «высокая, стройная дама» — впоследствии выясняется, что это была Ирина). Как видим, экспозиция героя в романе «Дым» существенно отличается от первого появления главных героев в предшествующих романах.

Далее Литвинов встречает своих старых знакомых, знакомится с новыми, случайно попадает в губаревский кружок, на генеральский пикник, возвращается к себе в гостиницу, покидает ее — словом, во всех сюжетно-пространственных перемещениях Литвинова повествователь ни на шаг не покидает своего героя, он всегда следует за Литвиновым. Правда, в романе есть один эпизод, разыгрывающийся в отсутствие Литвинова (небольшая сцена ревности у генерала Ратмирова в гл. XV). Следует также отметить картину, изображающую больную Татьяну, оставленную женихом (в конце гл. XXVI).

За исключением этих эпизодов на протяжении всего романа «прикрепленность» повествования к главному герою по сравнению с прежними романами Тургенева здесь безупречна. Вследствие этого персонажи, населяющие сюжетное пространство романа «Дым», не имеющие никакой сюжетно-фабульной мотивировки, предстают перед нами в тот момент, когда с ними встречается Литвинов. Таким образом, Литвинов связывает, «компонует» между собой отдельные сцены, автономно существующие сферы романа с сюжетно друг от друга независимыми персонажами.

Трудно полностью согласиться с Л. Пумпянским, считавшим, что в «Дыме» происходит «падение централизующей роли героя»⁷. В идеологическом значении это действительно так — для роли героя-идеолога Литвинов никак не подходит. Но в композиционном, сюжетно-фабульном отношении центральный герой, — несомненно, Литвинов.

Аргументация Л. Пумпянского сама по себе справедлива: «...целый ряд действующих лиц романа... и в конструктивном отношении не подчинены Литвинову...»⁸ Безусловно, прежняя романная иерархия персонажей в «Дыме» нарушена, и все же централизующая роль героя сохраняется в новом качестве: теперь ее предназначение не в сюжетном подчинении персонажей (как прежде), но в их соединении. При этом связи, объединяющие главного героя с остальными персонажами, предстают в «Дыме» в новых, прежде не свойственных романам Тургенева формах.

Одной из таких связей Ю. Манн называет мотив ухода, «пронизывающий всю ткань романа» и становящийся «объединяющим началом романного действия»⁹. Сходную мысль высказывает М. Лучников, называя также «мотивы круга и дороги», которые, попеременно доминируя, обеспечивают сюжетное единство «Дыма»¹⁰.

Такая необычная для романов Тургенева иерархия персонажей в соучастии с «прикрепленностью» повествования и модели хронотопа к образу Литвинова позволяет автору освещать и оценивать многие события с точки зрения главного героя — ракурса тоже довольно необычного. Это отчасти является и причиной появления в «Дыме» особого, углубленного психологизма, не раз отмеченного тургеневодами.

Действительно, в «Дыме», по сравнению с предшествующими романами, резко возрастает роль психологического анализа. Внутренние монологи с оттенком рефлексии, изображение элементов бессознательного, смутных ассоциаций, зыбких видений и воспоминаний образуют целый пласт в структуре произведения. Однако эта сфера получает в романе известную автономию, поскольку связана в основном с раскрытием внутреннего мира лишь одного героя — Литвинова. Образы Ирины, Татьяны, Потугина, Ратмирова и остальных персонажей либо полностью, по выражению М. Бахтина, «овнешнены», либо частично раскрываются лишь в целях «зеркального» изображения переживаний, умонастроений Литвинова, либо воссоздаются в его восприятии.

Подобная локальность психологизма, непосредственно связанная с особенностями повествования в романе, возникла в произведении, в котором был воплощен определенный авторский замысел: показать мир в восприятии Литвинова.

Такое объяснение нельзя считать произвольным. Как известно, тезис «мир глазами Литвинова» впервые упоминается еще Писаревым. Правда, рассуждения критика касались в основном идейной направленности романа, а не вопросов поэтики. В письме к Тургеневу по поводу «Дыма» он писал: «Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова. Вы подводите итоги с его точки зрения...»¹¹. Известно также, что Тургенев в ответном письме не оспаривает мнение Писарева и, говоря об идейном содержании романа, поясняет, что героем романа, с точки зрения которого оценивается современная Россия, является не Литвинов, а Потугин (П., VII, 209). Однако здесь определяется не кругозор автора-повествователя как такового, а идейная позиция автора-творца, идеологическая точка зрения писателя, высказанная устами Потугина. Что же касается точки зрения автора-повествователя, то ее сближение, а порой и совмещение с кругозором Литвинова в романе очевидно.

Если средством раскрытия характера Литвинова в основном является психологический анализ, то характер Ирины строится главным образом посредством изображения ее поступков. Внутренне героиня остается недоступной для читателя. Здесь сказывается прежняя манера Тургенева — яркость портрета, выразительность детали, многозначность жеста, мимики. Особо следует сказать о характерологической функции детали.

Как известно, в традиционном изображении персонажей (и главных, и второстепенных) Тургенев обычно сознательно выделяет какую-либо деталь портрета, а путем ее варьирования передает развитие характера. В «Дыме» при создании образа Ирины эта манера художника сохраняется. Такая деталь женского портрета, как глаза героини, становится «могучим средством изображения и характеристики человека»¹². Существенно также значение деталей и в изображении сатирических персонажей (генералы, губаревцы). Здесь уже деталь портрета приобретает иные функции, снижающие образ, создающие комический эффект. Нетрудно заметить, что изображение главного героя, как никогда прежде, лишено детализации, это компенсируется его углубленным психологизированием. Найденная художником мера в воссоздании внутреннего и в изображении внешнего идеально соотносится с принципом «мир глазами Литвинова».

Таким образом, сохраняя в основном прежний арсенал изобразительных средств, Тургенев в романе «Дым» по-иному использует отдельные его компоненты. Однако изменения эти не только количественные, но и качественные: в произведении наблюдается иная соотношенность их между собой, налицо явная перемена акцента в их употреблении. Вступает в силу вариативность художественной

системы. В результате этого в «Дыме» зарождается новый тип структурных связей и отношений в романном искусстве художника.

¹См.: Мопассан Ги де. Иван Тургенев // Мопассан Ги де. Полн. собр. соч. М., 1958. Т. XI; Джеймс Генри. Иван Тургенев // Джеймс Генри. Женский портрет. Л., 1981.

²По воспоминаниям профессора Бойсена, Тургенев рассказывал: «Когда я заинтересовываюсь каким-либо характером, он овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью... Наконец, мне приходится сдаваться — я сажусь и пишу его биографию...» См.: Бойсен Х. Визит к Тургеневу // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 330—331.

³Пустовойт П. Г. И. С. Тургенев — художник слова. М., 1987. С. 31, 90.

⁴Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. М., 1981. Сочинения. Т. VII. С. 400. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц. В ссылках на письма перед томом ставится буква П.

⁵Нестеренко А. А. Повествовательные структуры художественной прозы Л. Н. Толстого (рассказ и повесть). АДД. М., 1988. С. 9.

⁶Маркович В. М. Человек в романах И. С. Тургенева. Л., 1975. С. 9.

⁷Пумпянский Л. В. «Дым». Историко-литературный очерк // Тургенев И. С. Сочинения. М.—Л., 1930. Т. IX. С. V.

⁸Там же.

⁹Манн Ю. В. Новые тенденции романной поэтики // Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 137.

¹⁰Лучников М. Ю. Мотивы круга и дороги в сюжете «Дыма» И. С. Тургенева // Проблемы исторической поэтики в анализе литературного произведения. Сб. научных трудов. Кемерово, 1987. С. 70.

¹¹Писарев Д. И. Соч. В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 424.

¹²Цейтлин А. Г. «Дым» // Творчество И. С. Тургенева. Сб. статей. М., 1959. С. 417.

Публикуется по рукописи Владимира Владимировича —
отрубленный хвост статьи, которая он Ташкент
дал мне в жизнь («задержанные
О ВОСПРИЯТИИ РУССКОЙ ПРОЗЫ В XIX В.

МЕТРИЗОВАННОЙ ПРОЗЫ В XIX В.

(К исторической специфике ритмического ощущения) 25.X.1991.

С. И. Кормилов

Долгое время в литературоведении, в том числе в стиховедении, преобладало отрицательное отношение к «метрической прозе Андрея Белого»¹. Стиль автора «Петербурга», широчайше использовавшего метризацию без разделения речи на стихи, отмечен бесспорной нарочитостью, хотя, может быть, и необходимой для него. Но все особенности индивидуального стиля одного автора нельзя распространять на это «промежуточное» явление художественной речи, которое при всей его маргинальности было уже довольно широко распространено в XIX в., а появилось — в двусложниковом варианте — в конце XVIII в. у М. Н. Муравьева (перевод «Соболезнование к

страдающим. Идиллия. Сочинение Клейста, славного стихотворца немецкого») и Н. М. Карамзина (песня цюрихского юноши из «Писем русского путешественника»).

Двусложниковой метризованной прозой написаны первая сцена мистерии А. А. Дельвига «Ночь на 24 июля» (конец 20-х годов), драматическая сцена «Октавий Август и Овидий Назон в теплице пантеона» А. Ф. Вельтмана, включенная им в роман-путешествие «Странник» (1832), сон автора с биографией Наполеона в его же романе «Предки Калимероса» (1836), многие моменты в его драме «Ратибор Холмоградский» (1841), в лирико-философской книжке С. Темного «Ночь» (1836), трехактная пьеса П. С. Мочалова «Черкешенка» (поставлена в 1840 г.) и его же необработанный драматический диалог «Павел и Иван на возвратном пути из Сер[гиевской] лавры», определенные места в повести К. К. Павловой «Двойная жизнь» (1848), некоторые речи персонажей в исторических пьесах Н. А. Чаева и Н. Бицына (60-е годы), отдельные фрагменты у Н. С. Лескова («Островитяне», «Обойденные», «На краю света»).

В 1826 г. Ф. Н. Глинка, напечатав миниатюру «Опыт поли-метра», начал трехсложниковую традицию метризованной прозы (с переходом в тактовик). Ее решительно подхватил Вельтман: в 1829 г. начал трехсложником повесть «Эмин», в 1831 г. напечатал написанную в этой форме поэму «Искандер» («Эскандер») об Александре Македонском и в составе «Странника» — «Создание мира» (метризовано начало), затем использовал метризацию в романах «Кошечей бессмертный» (1833) и «Светославиц, вражий питомец» (1835), сделал полное переложение «Слова о полку Игореве» («Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского», 1833). М. Ю. Лермонтов в 1832 г. пишет «Синие горы Кавказа...», А. В. Кольцов в 1837 г. — письмо А. А. Краевскому, в начале которого лирически оплакивается А. С. Пушкин. В 70-е годы эту форму использовал Л. Н. Толстой в одном из вариантов начала романа из эпохи Петра Первого, в 70—80-е годы — Н. Н. Златовратский во многих «идиллизующих» главах своего романа «Устои», в 80—90-е годы — Н. С. Лесков в повестях и легендах из древней жизни.

В XX в. к метризованной прозе обращалось большее количество авторов, чем в XIX в., а отнюдь не один Андрей Белый. Обычно метрическая и метризованная проза, которую автор настоящей статьи условно именовал также «прозостихом», особым образом «оностраняла» текст, была знаком его архаизации или драматизации, разумеется, чисто конвенциональным знаком². Она выполняла и поныне выполняет определенные художественные функции, и обычно не в ущерб эстетическим достоинствам произведений.

Как, однако, к ней относились в XIX в.? Замечали ли ее читатели и критики? В какой системе художественных ценностей она воспринималась?

Возможность этого явления допускалась безоговорочно в силу своеобразно истолкованного авторитета древних. Однако отношение к нему могло быть различным. Скептически настроенный И. И. Мартынов в примечаниях к своему переводу трактата Псевдолонгина «О возвышенном» (1803) осуждал, например, сплошь дактилические периоды применительно к русской, а не греческой прозе. «Они думали,— говорил он о греческих риториках,— что и проза, подобно стихотворству, имеет падение хотя не столь постоянное, но такое, которое можно подвести под правила. Они показывают даже число стоп или цепь долгих и коротких складов, должествующих составлять члены периода, и предсказывают, какое они произведут действие». Но практика всегда нарушала бы теорию: «Проза должна быть прозою; она имеет право повелевать словами, ставить их, где угодно, только бы имели они свое действие и силу. Всякая мера в ней несносна; сие можно заметить из того, что хороший писатель всячески остерегается, дабы в его сочинении не было выражений, похожих на стихи; и ежели по случаю находим мы в какой-нибудь прозе меру стихов, то она производит некоторое к себе отвращение»³. Мартынов здесь следует за Вожегелё и другими теоретиками классицизма. Уже Карамзин, как практик, держался иного мнения.

И все-таки часто реальный русский прозостих попросту не замечался даже людьми с весьма тонким слухом. А. С. Пушкин в статье, посвященной «Слову о полку Игореве» (1836), упоминает переложение Вельтмана и цитирует его неточно, нарушая метр: «Г-н Вельтман перевел это место: *былое воспеть, а не вымысел Бояна, коего мысли текли в вышину, как соки по дереву. Удивительно!*»⁴ Пушкин был не согласен по смыслу и не думал о ритмической стороне (хотя и чрезвычайно отчетливой), но факт то, что в данном случае он ее отбросил как нечто несущественное. Белинский совершенно не почувствовал ритма в сочинении С. Темного «Ночь», он только выступил вслед за Сенковским⁵ против неестественного порядка слов. Его шокировала вычурность языка и синтаксиса, и он в назидание автору просто переделал один отрывок «правильным» языком, начисто сняв тем самым всякую метризацию⁶. Н. С. Лесков поставил в особую заслугу критику С. С. Трубачеву то, что он заметил прозостих в его повести из времен первоначального христианства «Гора» (1887—1888)⁷. Редактору «Исторического вестника» Лесков писал: «...верно, что стиль местами достигает «музыки». Я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что он заметил эту «музыкальность языка». Лести тут нет: я *добивался* «музыкальности», которая идет к этому сюжету *как речитатив*... Мне самому стыдно было на это указывать, а старшие этого не раскушали. А Трубачев это уловил. Это ему делает честь. Он *умеет читать*...»⁸ Лесков гордился «музыкальностью» языка своих легенд. Он говорил, что и в «Скоморохе Памфалоне» (1887) «можно скандировать и читать с каденцией целые страницы»⁹.

Вельтмановский прозостих «Песни ополчению...» высоко оценил знаменитый в свое время переводчик и издатель зарубежных поэтов Н. В. Гербель. Все прозаические переводы «Слова», отмечает он в предисловии к своему переводу, были примечательны более в плане «ученом», чем литературном. «Счастливым исключением из них можно назвать перевод г. Вельтмана, сделанный мерною, гармоническою прозою, далеко оставляющею за собою не только прозаические, но и многие стихотворные переложения...»¹⁰ Но сам Вельтман впоследствии отказался от прозостиха и вторую редакцию своего переложения выполнил прозой, обычно не превышающей установленных норм ритмизации при переводе «Слова». Второе издание его труда, несмотря на требования публики, вышло только через тридцать с лишним лет и совсем в другом качестве. «В то время... — вспоминал Вельтман в предисловии о первом издании, — я изложил его мерною речью, заменяя, как водится, все непонятные слова и выражения вольным переводом. Но в подобном драгоценном памятнике... всякий произвол изложения есть преступление против истины смысла подлинника... Слово о полку Игореве не требует ни перевода, ни переложения, а только верной замены слов вышедших из употребления однозначительными, понятными. Я изложил Слово выражениями подлинника и местами тем же размером одушевления, которым пелось творцу Слова. Эти песнивые места сами собою отделяются от рассказа. Так было и в сущности: певец рассказывал повесть и местами, одушевляясь, вторил речам своим, «возлагая свои вещие персты на живые струны». Это был голос мысли, перемежающийся с голосом чувства, рассказ и песнь — *recitatio* и *santabile*»¹¹. В этих «местах одушевления» Вельтман возвращается время от времени к прозостиху.

Что касается иноязычного прозостиха, то он, как правило, оставался незамеченным. Слова хоров в сцене отпевания Миньоны из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» П. Н. Полевой перевел обычной прозой¹². «Поэмы Оссиана» Макферсона вдохновляли русских поэтов и писателей на стихотворные и прозаические, но не на прозостиховые переводы. Нет прозостиха ни в «Поэмах древних бардов» (СПб., 1788) А. И. Дмитриева, ни в «Оссиане» Е. И. Кострова (изд. 2-е. СПб., 1818), ни в «Поэмах Оссиана» Е. В. Балобановой (1890). «Смерть Калмара и Орлы» Байрона также переводилась прозой: в «Вестнике Европы» 1821 г. (Н. В. Гербель атрибутирует перевод издателю журнала М. Т. Каченовскому¹³), Ф. Созоновичем и Гербелем¹⁴. Правда, не все читатели были довольны таким подходом. В научной библиотеке МГУ хранится экземпляр перевода Макферсона, выполненного Балобановой, с пометками владельца (на титуле выведено: «Дм. Войнилов. Январь 1891 г.»). Переводчица по поводу удивления читателей, почему Оссиан переведен не стихами, замечает, что таков оригинал¹⁵. Владелец книги записывает тут же: «Мы не можем согласить(ся) с мнением *переводчицы*, замечает на это один из критиков «Недели»: умелый

переводчик, вроде Веневитинова, только придал б(ы) недостающую силу стилю поэмам... И в самом деле, если стихи лишают перевод оригинальности стиля, то тем более лишит (его?) проза: в (ней?) невозможен (о) для переводчи(ка) выполн(ить) перевод той же кадансированную (про)зою, какую написан оригинал». На обороте титула той же рукой записано мнение критика «Недели» о сугубо научном, а не художественном значении перевода Балобановой.

Итак, Д. Войнилов видит в прозостихе нечто более близкое к стихам, чем к прозе. Гербель и Вельтман говорили о «мерной речи»¹⁶, Лесков и Трубачев — о скандировке, каденции, музыкальности. Ф. Н. Глинка свой «Опыт поли-метра» как будто осмыслил в терминах стиха, но в «Опытах аллегорий... в стихах и в прозе» отнес его к разделу прозы, а не стихов. Среди прозы напечатал сочинение «стихотворца немецкого» и М. Н. Муравьев. Однако Н. А. Полевой в «Московском телеграфе» поместил вельтмановского «Эскандера» под рубрикой «Стихотворения»¹⁷. Да и много позже поэмой назывался, скажем, прозостиховой «Человек» Горького. С другой стороны, Ермил Костров дал своему прозаическому переводу подзаголовок «Гальские стихотворения». Правда, Костров и не мог увидеть в «Оссиане» элементов прозостиха, потому что переводил не с оригинала, но с французского перевода (так же как и Каченовский Байрона), а во французском языке нет фонологической основы для самого тонико-метрического, силлабо-тонического принципа. Но, например, Ф. Созонович переводил с английского и все же перед текстом дал примечание: «В подлиннике повесть сия писана прозою»¹⁸.

Следовательно, полное единства в восприятии прозостиха не существовало. Он всегда воспринимался преимущественно как межумочное образование не совсем определенного статуса, что, однако, отнюдь не приводило к осуждению и отрицанию этой формы как таковой и тем более произведений, ею написанных. Пушкин писал о «Страннике» Вельтмана: «В этой несколько вычурной болтовне чувствуется настоящий талант»¹⁹. Для Белинского «Искандер» — один из драгоценнейших алмазов нашей литературы»²⁰.

Критик М. Лихонин приветствовал «будущего эпика, который прелюдировал своим *Эскандером* (см. ч. I, стр. 101); и тут уже было видно, что это молодой орел, который расправляет свои крылья... Впрочем, есть под пару Эскандеру: это его *космогоническая* выходка:

«Хаос наполнял беспредельность» и т. д. (ч. II, ст. 26) — в этом небольшом отрывке видно, что поэт думает не об одних *увядающих розах*: тут идеи философские, высказанные звучными стихами (это, думаю, заметили читатели, даром что автор написал их прозой), — исполненными силы и величия»²¹. Мнение Н. А. Полевого, высказанное в личном письме к Вельтману (цитируется лирическое начало «Эскандера»): «С утра я повторяю: *дитя мое, мысль моя, кто тебя создал?* Это очень, очень хорошо, говорю искренно»²².

По мнению его журнала, сцена «Октавий Август и Овидий Назон...», целиком перепечатанная в рецензии, выше всех похвал. «Мы умели бы сравнить ее только с *Эскандером* того же автора. Это: *Август и Овидий* — произведение высокой цены»²³. Даже О. И. Сенковский, пожуривший Вельтмана за разбазаривание своего таланта в «Предках Калимероса», сказал, что выведенная там жизнь Бонапарта (как раз прозостих) — «мимолетное, но лучшее место в книге»²⁴.

Будучи некой «экзотической» формой, прозостих в основном соотносился не с обычной стиховой силлабо-тоникой, внешне наиболее ему близкой, а с другими «экзотическими» формами, в первую очередь с дольниковым гекзаметром и зачаточным свободным стихом. Свободный стих в новоевропейской поэзии, собственно, возник прежде всего из немецких подражаний античным логаздам, метрическая упорядоченность которых была утеряна для уха европейца вместе с квантитативным принципом стихосложения²⁵. По мнению Ф. Г. Юнгера, свободный стих — результат разложения Ф. Клопштоком дольникового гекзаметра на более короткие неравные части ради «лирической страстности»²⁶. Прочно ассоциируясь с античными формами, ранний свободный стих осознавался как вполне классическая, хотя и не «своя», чужая, экзотическая, но естественная и закономерная в определенных сферах форма, которая не должна вызывать особого удивления²⁷. Точно так же для русского читателя удивительным был трех- или четырехиктный дольник, а шестииктный, т. е. гекзаметр, довольно скоро по возникновению уже никого не удивлял.

Тот, кто мог отказаться от горизонтального ритма или ослабить его (в свободном стихе), сохранив сами строки, мог поступить и сходным, но вместе с тем и диаметрально противоположным образом: сохранить метр, отказавшись от стихотворных строк. И в самом деле, первые опыты свободного стиха и прозостиха осуществляют одни и те же авторы. Правда, родоначальник русского свободного стиха, ориентированного на антично-немецкую традицию (кстати, Германия — классическая страна античной филологии, что еще укрепляет названную ассоциацию), Г. Р. Державин не писал собственно прозостихом, но у него есть три моностиха²⁸, а это также форма сугубо горизонтального ритма, как бы предельно краткий прозостих. Моностих, прозостих и свободный стих (в переводе с немецкого оратории Гайдна «Творение», 1801) есть у Карамзина²⁹.

У Дельвига — прозостих и свободный стих в переводе с немецкого же³⁰. М. Н. Муравьев свободным стихом не писал, но любопытно, что он первым после Третьяковского употребил в русской поэзии дактило-хореический гекзаметр, причем в лирике («Роща», 1778). Глинка был создателем как первого вполне оригинального, не апеллирующего к иноязычным образцам прозостиха на трехсложниково-дольниковой основе и первого непереводного и неподражаемого опыта в свободном стихе на той же трехсложниковой

основе (правда, в наименьшей мере свободном именно из-за отсутствия опоры на авторитет; но ведь и в прозостихе Глинка также по-своему робок: его текст — самый короткий в том и в другом случаях). Вельтман в драме «Колумб» дает свободным стихом католическую молитву (первая часть на латинском языке, вторая на русском)³¹, а в «Светославиче» — «строфу пророчеств»³², правда, призванную выразить не античный, а скандинавский, но оттого не менее экзотический колорит. Лермонтов не раз прибегал к хотя и не собственно свободному, но вообще дисметрическому стиху.

В ряде случаев обычный метрический стих непосредственно соседствует с прозостихом и прямо в него переходит³³, что выявляет безусловную родственность этих форм. Прозостих легко мог делиться на «стихи». Так, В. В. Пассек поставил эпитафией к третьей части своей книги «Путевые записки Вадима» (М., 1834) начальные слова «Эскандера», разбив их на два стиха:

Дитя мое, мысль моя!
Кто тебя создал? не я ли?
*Вельтман*³⁴

Моностих также мог делиться на части. Например, известная эпитафия Карамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра!», записанная на надгробной плите брата А. С. Пушкина Платона (1817—1819) в соборе Святогорского монастыря, разделена как бы на два стиха по цезуре.

Показательно и то, что многие имитаторы «народного стиха», и в их числе Кольцов, вдвое укорачивают длинные стихи протяжных песен, превращая цезуру в межстиховую паузу. Напомним в связи с этим еще раз обращение Ф. Г. Клопштока с гекзаметром.

В разные периоды представление о стихе включало в это понятие конвенциональные признаки, которые теперь кажутся вовсе не обязательными. Так, у Белинского в ходу замечания типа того, что в том или ином стихе собственно стихотворного — только рифмы³⁵ (а не ритм, метр, размер).

Ритмическое ощущение XIX в. в целом, по-видимому, менее четко определяло самостоятельный статус стихотворной строки как единицы ритма, чем сознание XX в. Стопа претендовала на универсальность в «правильном» литературном стихе. Лишь в начале XX в., когда равные права с силлабо-тоникой получили сразу несколько новых систем стихосложения, понадобилось осмыслить величину, объединяющую все эти типы версификации, и таковой закономерно стала строка, стих. Последовательным и осознанным (а не случайным и спонтанным, как ранее) выражением этого ощущения ритма и явилась классическая книга Тынянова 1924 г. «Проблема стихотворного языка». Одновременно, в 1923 г., ведущий поэт того времени Маяковский перешел от записи «в столбик», размывавшей единство строки, к собранной «лесенке». Тогда же

пошла на убыль и «орнаментальная проза». А. Белый в этом смысле остался одним из убежденных прямых наследников XIX в.

В свете сказанного возможно уточнение наших представлений о генезисе как прозостиха, так и верлибра — генезисе в принципе едином. Жюль Легра едва ли безосновательно отвергал идею о том, что верлибр «Северного моря» Г. Гейне восходит к «вольным ритмам» юношеских пиндарических од Гете, отдавая в этом смысле предпочтение метризованной прозе «Гимнов Ночи» Новалиса (в «Гимнах» есть и обычный классический стих, но в гейневском цикле он также встречается; Легра устанавливает другие параллели)³⁶. «Нет полной уверенности,— писал Легра,— что сам Гейне рассматривал свои вольные ритмы как стихи; следует отметить, что мы могли бы их без труда записать как прозаические строчки, и поэт, вне всякого сомнения, весьма охотно признал бы это. Итак, очень возможно, что эта ритмическая проза вдохновлена таковой Новалиса»³⁷. Тынянов иронизировал над таким рассуждением³⁸, однако в 1859 г. русский переводчик «Северного моря» М. Л. Михайлов не обинуясь писал: «Точно ли верно название «стихи» для этих кадансированных строк без определенного количества стоп или ударений, даже без постоянного ритма, не стану разбирать. Дело не в названии ... за ними в оригинале признается достоинство стройности, благозвучия и поэзии». «Право гражданства» этой формы закрепляется Михайловым путем ссылки на авторитет Гете³⁹.

Общность функциональной группы, в которую в XIX в. входят как родственные явления свободный стих, другие античные или, точнее, псевдоантичные формы и метризованная проза (а также и лапидарный моностих), подтверждается опытом близкой украинской литературы. В 1900 г. Леся Украинка, которая, как и русские поэты, осваивала античные и соотносимые с ними мотивы в форме свободного стиха, пишет произведение метрической прозой: «Завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона...»⁴⁰ Затем сокращает этот текст и печатает в форме свободного стиха. Текст напечатан с отступами через каждый стих. Если соединить строки попарно, то почти везде получится обычный гекзаметр. В прозостиховом варианте колоны, идентичные дактило-хореическому гекзаметру, также в большинстве случаев выделяются отчетливо. По существу Леся Украинка проделала с гекзаметром то же, что Клопшток, создавая зачаточные формы свободного стиха, но сверх того вычленила его первоначально из метрической прозы, продемонстрировав структурное и генетическое родство этих трех форм. Правда, тематика в данном стихотворении Леси Украинки не античная, а евангельская и близкая к ней, но ведь экзотический ореол легко создавался любыми историко-мифологическими мотивами.

Другой показательный пример дают черновики «Эскандера». В одном из набросков прозостих прямо переходит в гекзаметр; знак препинания, их разделяющий,— точка с запятой. Гекзаметром

написано три строки, размер не выдержан: во второй строке пять стоп вместо шести, во второй и третьей анакруза не нулевая, а односложная⁴¹, т. е. гекзаметр тяготеет к неравноударному и неравносложному стиху, типологически близкому к свободному.

К тому же кругу представлений восходит и позднейший факт. Н. И. Конрад комментирует прозостиховой перевод священной книги синтоизма «Кодзики», сделанный Г. О. Монзелером: «Во время обсуждения принципов перевода Кодзики на русский язык у нас возникла мысль передать текст этой священной книги японского народа — гекзаметром. Вызвана была эта мысль желанием передать Кодзики по-русски так, чтобы у русского читателя создавалось впечатление близкое, если не вполне эквивалентное тому, которое, по нашим представлениям, должно быть у японцев. Если учитывать тот факт, что Кодзики — особенно первая ее часть — есть типичный мифологический эпос, и притом именно обработанный в своеобразную стилистическую форму, представление о Кодзики (главным образом о ее первой части) как об эпической поэме должно быть недалеко от истины. Переложение на гекзаметр переводчиком уже было частично сделано; однако, поскольку мы не были убеждены в своей правоте, постольку было решено дать перевод прозаический, с тем, чтобы впоследствии уяснить себе этот вопрос уже более определенно»⁴². В результате из гекзаметра получился трехсложниково-дольниковый прозостих.

Утрата же прозостихом экзотического ореола в новаторской литературе начала XX в., обновившей поэзию прежде всего в содержательном плане, позднее в сознании многих дала одиозный оттенок, который достаточно долго его «принижал» и который как следствие слишком абстрактных оценок является неисторичным и несправедливым.

¹ См., например: Харлап М. О стихе. М., 1966. С. 31.

² См.: Кормилов С. И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XVIII—XIX веков // Русская литература. 1990. № 4. С. 31—44. В названной статье, написанной в 1978 г., но реально дошедшей до читателя в 1991 г., не упоминались произведения П. С. Мочалова и Н. Н. Златовратского.

³ О высокоом, творение Дионисия Лонгина. Перевод Ивана Мартынова с греческого языка, с примечаниями переводчика. Изд. 2, испр. и доп. СПб., 1826. С. 289, 290.

⁴ Пушкин-критик. М., 1950. С. 507.

⁵ См.: Библиотека для чтения. 1836. Т. XVI. № 5—6. Литературная летопись. С. 3—4.

⁶ См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 213—214.

⁷ См.: Исторический вестник. 1890. Т. XL. Критика и библиография. С. 680.

⁸ Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т. М., 1958. Т. 8. С. 606.

⁹ Там же. С. 585.

¹⁰ Игорь князь Северский. Поэма. Перевод Николая Гербеля. СПб., 1854. С. 16 (книга посвящена Александру Фомичу Вельтману).

¹¹ Слово об ополчении Игоря Святославича, князя Новгород-Северского, на половцев, в 1185 году. Изд. 2, А. Ф. Вельмана. М., 1866, С. V, XI.

¹² См.: Гете. Собр. соч. в переводе русских писателей. Изд. 2. СПб., 1894. Т. 4. С. 369. Лишь в 1912 г. С. Г. Займовский воспроизвел ритм оригинала,

да и то не совсем последовательно (см.: Гет е. Годы учения Вильгельма Мейстера. Пермь, 1959. С. 506—507).

¹³ См.: Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов, изданных под редакциею Ник. Вас. Гербеля. СПб., 1874. Т. 1. С. 301.

¹⁴ См.: Вестник Европы. 1821. Ч. СХVII. № 5. С. 3—12; Сын отечества. 1826. Ч. 105. № IV. С. 331—339; Сочинения лорда Байрона... Т. I. С. 22—24.

¹⁵ См.: Макферсон Джемс. Поэмы Оссиана. Исследование, перевод и примечания Е. В. Балобановой. СПб., 1890. С. 371.

¹⁶ Дж. Макферсон пользовался термином «мерная проза» (см.: Макферсон, Джемс. Поэмы Оссиана. Л., 1983. С. 470).

¹⁷ См.: Муравьев. Сочинения. В 2 т. СПб., 1847. Т. 1. С. 197—198; Московский телеграф. 1831. № 2. С. 195—202.

¹⁸ Сын отечества. 1826. Ч. 105. № IV. С. 331.

¹⁹ Пушкин-критик. С. 358. См. также с. 359, 553.

²⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 1. С. 95.

²¹ Лихонин М. Н. Вельтман и его сочинения // Московский наблюдатель. 1836. Ч. VII. С. 100—101.

²² Цит. по: Акутин Ю. Н. Александр Вельтман и его роман «Странник» // Вельтман А. Ф. Странник. М., 1978. С. 293. В той же статье (с. 293—300) см. другие высказывания критиков и литературоведов о «Страннике» в целом.

²³ Московский телеграф. 1832. Ч. 48. № 21. С. 90.

²⁴ Библиотека для чтения. 1836. Т. XVI. № 5—6. Литературная летопись. С. 15.

²⁵ См.: Харлап М. О стихе. С. 74—75, 131—132; Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха // Теория стиха. Л., 1968. С. 14; Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 254—255.

²⁶ См.: Жовтис А. Л. Немецкие *freie Rhythmen* в ранних русских интерпретациях // Русское языкознание. Алма-Ата, 1970. Вып. I. Ч. 2. С. 101—102; Рогов Вл. Верлибр: мода или потребность? // Литературное обозрение. 1974. № 9. С. 103.

²⁷ См.: Кормилов С. И. Русский свободный стих XIX века с системно-исторической точки зрения // Целостность литературного произведения как проблема исторической поэтики. Кемерово, 1986. С. 34—39.

²⁸ См.: Державин. Соч. 2-е академическое изд. СПб., 1870. Т. 3. С. 268, 295, 385.

²⁹ См.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1966. С. 112, 89—90, 271—276.

³⁰ О ранних формах свободного стиха см.: Баевский В. С., Ибраев Л. И., Кормилов С. И., Сапогов В. А. К истории русского свободного стиха // Русская литература. 1975. № 3. С. 89—91.

³¹ См.: Русский вестник. 1842. № 5, 6. С. 103—104.

³² Вельтман А. Светославич, вражий питомец. М., 1835. Ч. I. С. 190.

³³ См.: Темный С. Ночь. СПб., 1836. С. 10, 31, 35—38, 40—41; Вельтман А. Ратибор Холмоградский. М., 1841. С. 6—7, 24, 69, 103, 124—127; Павлова К. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1964. С. 236, 242, 249, 266, 294, 301.

³⁴ См.: Акутин Ю. Н. Указ. соч. С. 292.

³⁵ См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 2. С. 575 и мн. др.

³⁶ Legras Jules. Henri Heine poète. Paris, 1897. P. 164—168.

³⁷ Ibid. P. 165.

³⁸ См.: Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. С. 37.

³⁹ См.: Михайлов М. Л. Собр. стихотворений. Л., 1969. С. 559.

⁴⁰ Українка Леся. Поезії. В 2 т. Київ, 1961. Т. 1. С. 281—283.

⁴¹ Вельтман А. Ф. Странник. М., 1978. С. 193.

⁴² Конрад Н. И. Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927. Т. I. С. 544—545.

МОДЕЛЬ ИГРОВОГО СОЗНАНИЯ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

И. Е. Медвецкий

Роман «Идиот» — один из трех романов Достоевского, в центре которых находится один главный герой. Этот герой имеет одну генеральную идею, нуждающуюся в «проверке» по ходу романного действия (в «Идиоте» — князь Мышкин с идеей Христа, в «Преступлении и наказании» — Родион Раскольников с идеей Наполеона, в романе «Подросток» — Аркадий Долгорукий с идеей Ротшильда)¹. Для проверки этих идеологических построений Достоевский создает условия эксперимента, который и определяет либо дальнейшее развитие Идеи (как в «Идиоте»), либо ее изменение (теория Раскольникова). Всякий раз условия эксперимента неодинаковы, однако набор персонажей, реализующих его в ходе сюжетного развертывания, постоянен. Причем каждый персонаж выполняет определенную функцию в образной системе романа, имеет свое игровое «амплуа»².

Выделению игровых «амплуа» способствует рассмотрение ряда оппозиций в романе Достоевского «Идиот», которые могут быть сведены или к библейскому сюжету, или к мотиву, доминантному для всего творчества писателя, но обязательно заключают в себе столкновение различных убеждений персонажей с Идеей главного героя (Мышкина). При этом все позиции героев романа функционируют, по словам М. М. Бахтина, на уровне «равноправных сознаний с их мирами»³, будучи, однако, всецело подчинены авторскому замыслу. Можно выделить несколько таких оппозиций в «Идиоте», где одним из ее составляющих будет образ Льва Мышкина⁴, а другим, последовательно, образы Настасьи Филипповны, Аглаи Епанчиной, Рогожина, Лебедева и Иполита Терентьева.

Итак, первой оппозиции: Мышкин — Настасья Филипповна — соответствует известный евангельский сюжет «святой и блудница». Соотнесенность образов Мышкина и Настасьи Барашковой с персонажами Нового завета Иисусом Христом и Марией из Магдалы не подлежит сомнению. Ведь Достоевский в определении сущности главного героя, пройдя этапы: Идиот — Яго, Идиот — «Ставрогин» и Идиот — «Подросток», остановился на варианте «Князь Христос», приняв решение «наделить героя чертами евангельского Христа»⁵. По замыслу писателя, роман «Идиот» не что иное, как «разыгрывание» мифа о Христе, Христово «пришествие» на русскую «почву».

История отношений Мышкина с Настасьей Филипповной дублируется в романе рассказом о Мари из швейцарской деревушки, написанным по несомненной «ассоциации с евангельской историей Марии Магдалины» (9, 394). Эпизод с Мари предваряет ситуацию, в которой оказалась Барашкова. Первоначально описав встречу

двух соперниц, Достоевский вложил в уста Аглаи гневное восклицание, обращенное к Настасье Филипповне: «Это подло — играть роль Магдалины...» (9, 395). Следовательно, та любовь-жалость, которую князь Мышкин испытывает к Мари, переносится и на другую «падшую» — Настасью Барашкову, чего последняя принципиально принять не может: «Я, может быть, и сама гордая...» (8, 143):

Таким образом, оппозиции «герой — возлюбленная» соответствует существенный для всего творчества Достоевского мотив «любовь-жалость», который был присущ и предыдущему его роману «Преступление и наказание» (линия «Раскольников — Сонечка»). Игровыми же «амплуа», в которых выступают эти персонажи, являются роли «героя-идеолога»⁶ и «возлюбленной».

Рассмотрим вторую оппозицию: Мышкин — Аглая. На первый взгляд, она просто повторяет предшествующую, так как и здесь «амплуа» ее участников — «возлюбленная» и «герой-идеолог». Однако мотив, соответствующий этой оппозиции, существенно меняется. С одной стороны, свидания князя и Аглаи в павловском парке — «подлинный гимн... молодой и чистой любви» (9, 408). Но с другой — постоянные издевательства Аглаи Епанчиной над Мышкиным, ее «восстание» против жалости князя к Барашковой во имя собственной «гордости» навсегда отравляет любовь героев. Жертва князя Мышкина (согласие на брак с Настасьей Филипповной) не может быть понята и принята Аглаей, воспитанной в духе эгоистической морали.

Здесь четко прослеживается мотив, доминантный для произведений Достоевского. Это мотив «любви-ненависти», реализуемый во многих романах писателя. Достаточно назвать линии: Наташа Ихменева — Алеша Валковский в «Униженных и оскорбленных», Алексей Иванович — Полина в «Игроке», Лиза Тушина — Ставрогин в «Бесах», Версиков — Ахмакова в «Подростке», Катерина Ивановна — Иван Федорович в «Братьях Карамазовых». Одной игровой оппозиции: «герой-идеолог — возлюбленная» — соответствуют два авторских мотива: «любовь-жалость» и «любовь-ненависть», одновременно реализованные в романе «Идиот».

Следующая оппозиция в романе: Мышкин — Парфен Рогожин — интересна своей неоднозначностью. С первой встречи этих героев их противостояние друг другу очевидно. Описания их внешности контрастны: Мышкин «очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белую бородкой», глаза «большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тяжелое», лицо «приятное, тонкое и сухое» (8, 6); Рогожин — «курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами», «лицо жилистое; тонкие губы беспрерывно складывались в... злую улыбку», «мертвая бледность» в лице (8, 5).

Но, с другой стороны, они почти ровесники (им «лет по двадцати

семи»), оба героя — лишние в этом городе (их приезда никто не ждет), все их поступки естественны и подчинены одной страсти (вселенская любовь Мышкина и безудержная любовь к Настасье Филипповне Рогожина). И отнюдь не случайно «роман открывается встречей двух “естественных” людей»⁷, а Рогожин говорит в поезде только с князем, не обращая внимания на льнущего к нему Лебедева.

Подружившись, Мышкин и Рогожин закрепляют свой союз братанием, обмениваясь нательными крестами. Ради князя Рогожин жертвует своей любовью и «уступает» Настасью Филипповну. Однако не в силах справиться с собой, он сначала едва не убивает князя Мышкина, а затем становится главной причиной его сумасшествия. Итак, данной оппозиции соответствует мотив предательства «названного брата», т. е. евангельский сюжет «Христос — Иуда». Иисус предчувствовал предательство Иуды, но не захотел избегать его. Мышкин знает об опасности, грозящей ему после разговора с Парфеном, но не делает ничего, чтобы предотвратить ее. И Христос, и князь Мышкин прощают «друзей-предателей» после их преступлений. Таким образом, в данной оппозиции реализуется новое «амплуа», эта оппозиция приобретает вид «герой-идеолог — друг-предатель». Мотив «дружбы-вражды» прослеживается и в других романах Достоевского (линии: Раскольников — Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Аркадий — князь Сережа в «Подростке»).

Очередная оппозиция: Мышкин — Лукьян Лебедев — может быть рассмотрена как библейский мотив «пророк — лжепророк». Характерный для Достоевского прием включения в образную систему романа, помимо героя с идеей «весь мир осчастливить», персонажа, приспособляющего эту же идею к буржуазным представлениям (дельца), работает и в романе «Идиот». Если Мышкин выступает как носитель христианской системы ценностей, то Лебедев, ориентируясь на тот же Новый завет, делает антагонистичные по сути выводы: «Да-с. Закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве! Дьявол одинаково владевает человечеством до предела времен еще нам неизвестного» (8, 311).

Толкователь Апокалипсиса применительно к современности, видящий в железных дорогах гибель цивилизации, Лебедев в своем бытовом поведении, с его «низок, низок-с», снимает всякое серьезное отношение к своим же «пророчествам». Его поступки оказываются подчиненными или откровенно низменным целям личного обогащения (случай с пасквилом на Мышкина), или желаниям «насладиться» примерами людской низости (история с генералом Иволгиным). А христианская идея князя Мышкина служит Лукьяну Лебедеву для оправдания человеческой слабости и соответственно собственной подлости.

Итак, в этом случае мы имеем дело с оппозицией: «герой-идеолог — делец», со столкновением генеральной идеи романа

с ее суррогатом — минус-Идеей. Новое игровое «амплуа» здесь — «делец», еще оно выделяется в оппозициях: Раскольников — Лужин из «Преступления и наказания» и Аркадий — Ламберт из «Подростка». Причем фамилии всех трех «игроков» этого «амплуа» начинаются с одной и той же буквы (Лужин, Лебедев, Ламберт).

Тесно связана с предыдущей и последняя выделяемая нами оппозиция: Мышкин — Ипполит Терентьев, которая легко сводится к тому же мотиву «пророк — лжепророк». Но в отличие от оппозиции Мышкин — Лебедев здесь действует персонаж, развенчивающий идею главного героя, «снимающий» ее в собственных построениях противник. Несостоявшиеся варианты центрального персонажа Идиот — «Подросток» и Идиот — «Ставрогин» реализованы Достоевским в фигуре Ипполита. Достаточно сравнить рассуждения Аркадия в «Подростке» (13, 74—75) и Ипполита о Ротшильде (8, 326—327) и сон о пауке Ставрогина в изъятой главе «Бесов» (11, 21—22) со сном о гаде Ипполита (8, 323—324), чтобы полностью убедиться в этом.

Ипполит смотрит на жизнь как на «злую насмешку природы» (9, 409), она — выражение мирового закона, безразличного к судьбе человека. Смертельно больной, он наслаждается своей обидой, ненавидит благополучие других людей. Однако его поступки (хлопоты за доктора, защита Бурдовского) свидетельствуют о наличии в его характере добрых начал. В своих высказываниях Терентьев амбивалентен: «Я хотел жить для счастья всех людей...» (8, 246) и «О никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам, ни теперь, ни прежде, я с гордостью это говорю!» (8, 326).

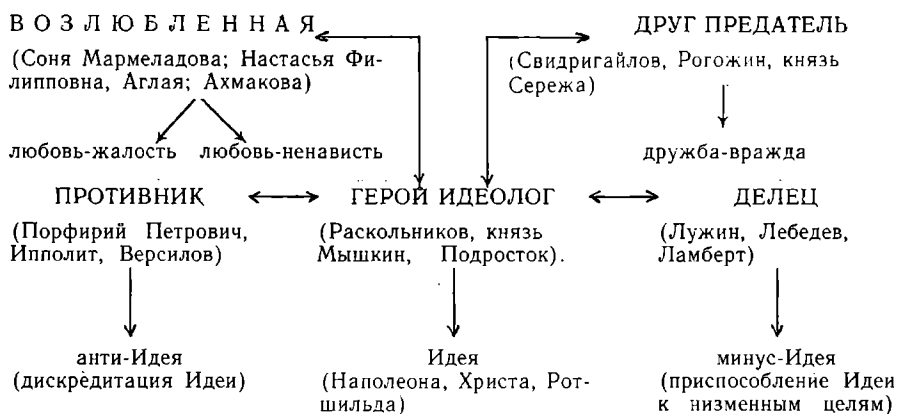
На фоне гармоничного Мышкина Ипполит выглядит раздвоенным, рефлектирующим героем. В своей исповеди «Мое необходимое объяснение» он пытается опровергнуть идею «Князя Христа», выдвигая анти-Идею о безжалостности и обреченности человеческого общества. Таким образом, «амплуа» Ипполита — «противник», а цель — дискредитация Идеи главного героя и замена (а не подмена, как в предыдущей оппозиции: Идея — минус-Идея) ее на анти-Идею, которая полностью «сняла» бы эту Идею. Подобная оппозиция: «герой-идеолог — противник» — присутствует и в других романах Достоевского: Раскольников — Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании», Аркадий — Версилов в «Подростке».

Итак, наш анализ оппозиций в романе «Идиот» позволил выделить пять основных игровых «амплуа» героев Достоевского: «герой-идеолог», «возлюбленная», «друг-предатель», «делец», «противник»⁸. Причем эти «амплуа» функционируют не только в данном, но и в других романах писателя («Преступление и наказание», «Подросток» и др.).

Нужно отметить, что попытки вывести типологию героев Достоевского предпринимались неоднократно. Например, Г. К. Щенников выделял «христиан» (Соня, Хромоножка, Зосима и т. д.), «русских безобразников» (Свидригайлов, Рогожин, Федор Павлович и т. д.),

«теоретиков» (Раскольников, Ставрогин, Версиров и т. д.), «дельцов» (Лужин, Лебядкин, Ламберт и т. д.) и отдельно ставил Мышкина как «человека будущего в настоящем»⁹. Мы не будем разбирать плюсы и минусы такой типологической классификации, хотя странным представляется отсутствие «Князя Христа» Мышкина в списке «христиан» и появление среди «дельцов» пьяницы-буффона Лебядкина.

В нашей работе речь идет не об очередной типологии героев Достоевского, а о нахождении универсальных «амплуа», которые переходят из романа в роман писателя и закрепляются, таким образом, за типологичными персонажами. Выделение игровых «амплуа» с их функциями и мотивами позволяет выстроить универсальную модель игрового сознания для романов Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот» и «Подросток»):



Эта универсальная модель дает представление о Достоевском как об авторе, сознательно выстраивающем в своих романах определенные идеологические оппозиции, которые реализуются в игровых «амплуа» его персонажей. Здесь уместно вспомнить замечание Ю. Шейнина, который отдавал значительное место элементу игры в творческой деятельности, что, по его мнению, «обусловлено природой творчества как “езды в неизвестное”... нуждающейся в предварительном моделировании в воображении процесса вероятностных направлений поиска»¹⁰. Г. Гачев, выясняя иерархию ролей в космосе Достоевского, также пришел к игровой схеме, отразившей эти уровни и применимой ко многим произведениям русского писателя¹¹. Разумеется, нет необходимости сводить все богатство и разнообразие названных романов к этой упрощенной модели. Напротив, жесткая организация романов Ф. М. Достоевского позволяла ему достигать бесконечного многообразия форм в ее пределах.

¹ В двух других романах пятикнижия таких героев с генеральной идеей несколько: Степан Трофимович и Ставрогин в «Бесах», все три брата — Иван, Алеша и Дмитрий в «Братьях Карамазовых». В «Игроке» же главным героем движет не столько Идея, сколько любовь-страсть к Полине.

² См. об игре у Достоевского: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 159—190, 194—208; Исупов К. Г. Две модели творческого поведения (Достоевский и Пришвин) // Проблемы творчества Ф. М. Достоевского: поэтика и традиции. Тюмень, 1982. С. 77—87; О неисследованной черте художественного мышления Ф. М. Достоевского (понятие игры) // Вопросы историзма и реализма в русской литературе 19—начала 20-го века. Л., 1985. С. 183—192; Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии 19—20-го веков. М., 1988. С. 75—79, 285.

³ Бахтин М. М. Указ. соч. С. 6—7.

⁴ В имени Лев Мышкин уже заключена некоторая оппозиция: «сила» — «слабость», «большой» — «меньший».

⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1974. Т. 9. С. 345, 394. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

⁶ Безусловно, почти все основные герои романов Достоевского в какой-то степени — идеологи. Мы же выделяем центрального героя названных романов с его Идеей, которая во многом определяет движение сюжета данных произведений.

⁷ См.: Слизина И. А. Литературные и эстетические источники образа Мышкина в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Русская литература 1870—1890-х годов. Эстетика и метод. Свердловск, 1987. С. 106.

⁸ В любом тексте, на наш взгляд, основной герой может выполнять три функции: «актера» (конкретный персонаж), «актанта» (носитель сюжетной функции) и «игрока» (носитель композиционной функции). Так, например, центральный персонаж «Преступления и наказания» Раскольников в ходе сюжетного развертывания выполняет функцию «преступника», «убийцы», тогда как в композиции романа ему отведено место «героя-идеолога» (русского Наполеона). См. об этом: Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы 19—20-го вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 387—422; Греймас А.-Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика. М., 1983. С. 483—485.

⁹ См.: Шенников Г. К. Художественное мышление Ф. М. Достоевского. Свердловск, 1978. С. 36—78. Можно назвать также работы А. Бема по типологии героев Достоевского (О Достоевском. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929).

¹⁰ Шейнин Ю. Интегральный интеллект. М., 1970. С. 164.

¹¹ См.: Гачев Г. Д. Космос Достоевского // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973. С. 110—124.

Чебаркуль

СТРАНИЦА ИЗ РАССКАЗА НАБОКОВА «ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ»

(опыт лингвистического анализа)

Г. К. Васильев

Приведем рассматриваемый текст полностью.

«Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними),

расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково: никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсиновую корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю: потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внят-ное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю: но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелой ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сладостей в безнадежно полной корзине. Моросить не перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи: я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух

переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклееное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны»¹.

Чтобы определить, что сообщает этому тексту особую выразительность, выявим скрытые ритмические структуры и соответствующие им фонетические и синтаксические параллели, а также не лежащие на поверхности семантические связи отдельных структур с общей тональностью рассматриваемого текста. Вопрос о случайности или неслучайности появления ритмических структур внутри прозаического текста имеет свою историю и несколько методических подходов, использующих более или менее сложные приемы математической статистики. Так, например, в исследовании В. Е. Холшевникова по русской прозе, относящемуся к 1985 г., имеются данные о вероятности случайного появления 8—9-сложных отрезков, образующих строки четырехстопного ямба (Я4) в произведениях различного стиля и жанра². Мы поставили перед собой более скромную задачу анализа лишь одного небольшого текста объемом немного более 500 слов, который служит экспозицией к сюжетной части рассказа и определяется общей эмоциональной доминантой — двойственностью восприятия действительности и авторскими сомнениями в правильности и четкости собственных дефиниций.

С целью подробного анализа выпишем, по возможности, все отрезки, подпадающие под двух- и трехсложную метрическую схему с числом слогов не менее 8, и рассмотрим их «поэтические» признаки, взаимно дополняющие друг друга на фонетическом, грамматическом и семантическом уровнях.

(1) «Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий».

Заметим, что, в зависимости от паузирования, можно услышать в этом предложении три различные волны одного и того же ямбического ритма. Если сделать паузу после слова «стволы», то получим в начале четкий Я4 с пиррихием на третьей стопе и открытым мужским окончанием. Однако можно читать иначе и выделить вторую часть, начиная со слова «стволы», — «стволы платанов, можжевельник», которая окажется тем же Я4 с женской клаузулой и пропуском ударения на той же третьей стопе. Если же при чтении выделить паузами тройное словосочетание «пегие стволы платанов», звучание которого определяется как четырехстопный хорей (Х4) и прочно связано фонемным комплексом [тв—л] — [л—т—в], то остающаяся разностопная часть «можжевельник, ограды, гравий», кроме двух конечных хореев с односложной анакрусой, связывается анафорическим повтором «гра-гра».

Возможно, однако, что такая дизъюнктивная схема возможных прочтений этого отрезка вообще неправомерна, а все варианты, особенно при повторном прочтении, соприсутствуют в сознании

как потенциально возможные и создают ощущение гармонии, созвучное общему настроению всего отрывка.

(2) «... в бледном просвете, в неровной раме...»

Здесь своеобразный ритм достигается, по-видимому, зеркальной симметрией обоих сочиненных словосочетаний — две амфибрахические «стопы» опоясаны двумя хореическими по схеме X1—Am2—X1, при ассонансе ударных гласных [é] в первой паре и созвучном ударном комплексе [po] — [pa] во второй паре слов и контрастирующей грамматической категорией рода обоих словосочетаний.

(3) «... с трудом поднявшихся с колен...» — Я4 с пиррихием на третьей стопе.

(4) «... похожа на цветные снимки...» — Я4 с женской клаузулой.

(5) «... теснясь в застывшей карусели...» — Я4 с пропуском ударения на третьей стопе и женской клаузулой.

Обратим внимание на то, что (3) и (5) являются частями двух различных дополнений в разных придаточных предложениях и разделены между собой некоторым интервалом, который, однако, не мешает восприятию их параллельной грамматической конструкции — причастия на [фши] с различием в категории числа и звуковыми повторами [с'а—с] в середине (3) и [н'ас'] — [зас] в начале [5], что опять-таки помогает формированию слитной конструкции сложного предложения.

(6) «... и морским рококо раковин...»

Здесь словосочетание «рококо раковин» связано звуковыми повторами [роко], [кора], [рако] и одновременным притяжением их к третьему повтору в препозитном слове «морской». Немаловажна и семантическая связь обоих членов словосочетания, которая заключается в общности их этимологии по схеме рококо — goscille — облицовка из мелкого камня — облицовка ракушечником — стиль измелченного декора — рококо. Таким образом, тяготение семантики не только «раковин», но и «рококо» к их общему семантическому гнезду — «морю» несомненно присутствует в нашем сознании, способствуя цельному восприятию этого образа.

(7) «... никак не могут вспениться неповоротливые волны...»

При чтении естественна глубокая пауза после «вспениться», которая делит отрезок на две ритмизованные части: первая часть — Я3 с дактилической клаузулой и вторая — Я4 с женской клаузулой и пиррихиями на I и III стопах, что придает ей пэоническое звучание пэона IV (Пэ4).

(8) «... и прилавок с открытками, и витрину с распятиями...»

Последнее слово прочитывается рас [п'ят'иъ] ми, поскольку в данном контексте лишено религиозно-церковного семантического оттенка и допускает такой морфологический солецизм, обычный в поэтической речи.

В таком случае отрезок представляет собой две параллельные синтагмы тождественного анапестического ритма — An2. Обе син-

тагмы являются сочиненными прямыми дополнениями, различающимися только категорией рода, а звуковые комплексы [пр'и], [кры] и морфологическая эпифора [м'и] дополнительно выявляют их синтаксический параллелизм. Ритм этой строки не только отчетливо слышится сквозь ее прозаическое обрамление, но при замедленном чтении настойчиво вызывает в сознании напевные северянские строки «по аллее олуненной в шумном платье муаровом...»; и возникает эта ассоциация, конечно, не только вследствие ритмического тождества, но и по своему эмоциональному соответствию.

(9) «... и совсем еще желтую апельсиновую корку...»

Снова повторяется тот же анапестический ритм. Впечатление усиливается еще и тем, что здесь подспудно присутствует двойной смысл словосочетания «апельсиновая корка», которое, кроме прямой номинации, может пониматься как двусмысленная ситуация, особенно явственная не только для французского языка, где имеется фразеологический оборот *glisser sur une peau d'orange*, но и для некоторых славянских языков. Так, например, «Кора наранджа» является заглавием целого сборника рассказов одного хорватского писателя³.

(10) «... Я этот городок люблю...» — Я4 с пиррихием на второй стопе.

(11) «... что его сонная весна особенно умягчает душу...»

Замедленное течение этой строчки позволяет, в отличие от предыдущих двусложников, квалифицировать ее ритм как четырехстопный пэон Пэ4 с женской клаузулой и стяжением двух безударных слогов после слова «весна», где имеется глубокая пауза, разделяющая отрезок на две части. Впечатление усиливается обилием аллитерационных ассонансов [о—сón], [сн], [осóб'] и симметрично расположенными ассонансами на [ó] в начале каждой полустроки, а также ударными [á], что придает всей строчке дополнительную устойчивость. Кроме того, возможность двойного понимания глагольной формы «умячивает» задерживает внимание и затормаживает восприятие текста. Умягчать(ся) одновременно означает и мостить(ся), т. е. уютно и успокоительно укладываться, и умягчать маслом, елеем, т. е. смягчать что-либо и успокаивать душу. Оба значения присутствуют здесь и взаимно дополняют друг друга.

(12) «... надетом прямо на рубашку...» — Я4 с женской клаузулой.

Переходя к третьему абзацу, напишем его начало с разбивкой на строчки, соответственно естественному синтаксическому членению первого сложноподчиненного предложения:

(13) «Я приехал ночным экспрессом,
в каком-то своем паровозном азарте,
норовившем набрать...»

Как видно, переход от описательной части экспозиции к сюжетной контрастирует появлением различных трехсложников. Здесь являются трехсложные стопы достаточно большой протяженности,

при хорошо слышимых звуковых повторах в двух последних словосочетаниях. Этот ритм сохраняется и при сплошном написании текста, причем две первые строчки воспринимаются сначала как «я приехал» с двумя сочиненными обстоятельственными членами — «ночным экспрессом, в каком-то своем паровозном азарте...» и знаки пунктуации не помогают сразу же правильно расставить паузы и смысловые акценты, чтобы верно воспринять это сложное предложение. Таким образом, наряду со скрытой ритмизацией возникает двойственность восприятия начального отрезка всего предложения в смысле очеловечивания экспресса и одновременно гиперболлизации азарта автора. Кроме ритмического оформления, этот отрезок текста отличается также рядом фонологических особенностей. Шесть из девяти слов оканчиваются назальной согласной [м], определяемой грамматическими обстоятельствами, а последние знаменательные слова, связанные четырьмя комплексами из последовательных «а» и «р», образуют легко произносимую пару словосочетаний — «паровозном азарте, норовившем набрать».

(14) «... приехал невзначай, на день, на два...» — Я5 с цезурой на третьей стопе с пропуском ударения на второй.

Теперь обратимся к самому большому по своему объему последнему абзацу, в котором впервые появляются реально действующие субъекты. Сначала речь идет о «младенце мужского пола».

(15) «... с выпученным, серым пупастым животом...»

На фонологическом уровне единство отрезка поддерживается тем, что все слова заканчиваются сочетаниями велярных назальных [м] и [н] с глухими и звонкими взрывными [т] и [р], образуя неблагозвучную четырехкратную эпифору [ным], [рым], [тым], [том], не говоря уж о еще менее благозвучном парономастическом единоначатии [пуч] — [пуп].

(16) «... отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем...»

Этот отрезок из шести знаменательных слов симметрично разделен «цезурой» на две части, ритмизованные различным образом.

Первая часть представляет собой Х4, а вторая — Х5 с пропуском ударения на четных стопах. Имеется множество стихов такого десяти-сложного ритма и подобного синтаксического строения. Как пример можно привести хотя бы «Девушка с глазами дикой серны», которая является чем-то вроде их стихотворной формулы. Оговоримся, что рассмотрение отрезков прозы, как законченных стихов, во многих случаях становится неправомерным, вследствие смещения фразового ударения, которое в контексте целого предложения часто оказывается более сильным фактором, по сравнению с ритмическим ударением, и звучание тонической организации отрезка несколько затусовывается.

(17) «... на мокрой террасе кофейни...» — Ам3.

(18) «... сложных, с лунным отливом, сладостей...»

Ритм этой последовательности слогов и слогоразделов представ-

ляет собой анапест с утяжелением на первой стопе. Однако куда существеннее для скрепления строки действует троекратная анафора из велярного фрикативного [с] и плавного [л] — [сл], [с—л], [сл].

(19) «... вывозного сорта англичанин...»

(20) «... за стеклом давно изнемогали...»

Последние два отрезка, разделенные в тексте лишь одной строчкой, почти тождественны в ритмическом отношении и представляют собой Х5 с пиррихием на первой и четвертой стопах и односложной анакрусой.

Рассмотренными выше случаями ритмизация прозаических отрезков исчерпывается. В упомянутом исследовании В. Е. Холшевникова приведены данные по четырехстопному ямбу, которые сведены в таблицу, содержащую количества различных ритмов этого наиболее распространенного метра, встречающиеся в восьми- и девятислого-вых синтагмах прозы различных авторов. Отсюда легко подсчитать и относительное количество последовательностей слогов, случайно организованных в форме двусложных размеров. Так, например, по прозе А. С. Пушкина («Повести Белкина») их количество составляет 7,85 %, по прозе М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени») — 6,3, по А. П. Чехову («Палата № 6») — 6,82, по научной прозе К. А. Тимирязева — 6,57 %. Отсюда среднее значение равняется 6,8 %, в то время как в рассмотренном начале рассказа Набокова этот показатель составляет 10,42 %, превышая среднее по другим авторам и жанрам на 36 % (!). Таким образом, сравнение лишь по двусложным размерам приводит к впечатляющему результату — данный текст В. В. Набокова по своей ритмической организованности по крайней мере в полтора раза превосходит прозу других авторов, взятых для сравнения. Если же учесть также появившиеся случайно (случайно ли?) последовательности слогов, организованные в ритмах трехсложных размеров, то суммарное количество ритмизованных отрезков достигнет 21 %, т. е. $\frac{1}{5}$ всего слогового объема.

Кроме ритмических отрезков, скрепленных дополнительно грамматическими и фонетическими приемами, в этом, да и в других произведениях Набокова встречается множество отдельных словосочетаний, которые приближаются к типу устойчивых по тем же признакам и в большинстве случаев подчиненных общей эмоциональной доминанте всего произведения. Многие из них имеют двух- и трехсложную структуру и четкую звуковую организацию.

Коснемся еще встретившегося в тексте несколько загадочного выражения «безнадежно усатый продавец». Для него трудно было бы найти какой-нибудь широко известный литературный источник и также неправдоподобно отнести к сленгу, бытовавшему в то время в узком окружении автора. Вместе с тем можно выдвинуть гипотезу, предположив, что оно появилось, как эвфемизм «безнадежно глупого», поскольку последнее является устойчивым словосочета-

нием редкого наречия с отрицательной семантикой «безнадежно» с качественным управляющим именем прилагательным. Иначе было бы и невозможно подать свое ироническое отношение к персонажу, который ничем его не заслужил и ничем о своей глупости не заявлял. Такой прием, подкрепленный к тому же параллельным «в безнадежно полной корзине», может вызывать в воображении читателя онегинскую «глупую луну на этом глупом небосклоне», где устойчивое сочетание «полная луна» заменено неожиданным «глупая луна». Набоков использовал обратную замену подразумеваемого «глупый» на неожиданное «безнадежный», вырванное из другой группы словосочетаний иронической семантики.

Реальное действие начинается в экспозиции рассказа лишь в той сцене, где «младенец мужского пола», ковыляя, старается нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно все три у него отняла тремя руками девочка со смуглой шеей. Метафора скорости, сноровки и жадности — «тремя руками» — выпадает из стилистической тональности всего отрывка. Однако этот образ не случаен и встречается в сходном контексте и в других произведениях автора. Например, «... промеж дверей невидимые жадные руки отняли у него то, что он держал», говорится о сестре, просившей принести отцовские папиросы («Тяжелый дым», 1934).

Мотив, вернее целая тема отнимающей женщины соотносится с центральной в иных случаях оппозицией одаряющей женщины. Сама жизнь — это женщина, которая отнимает то, что существовало во всей своей полноте в далеком детстве, и потому все последующие впечатления действительны лишь постольку, поскольку служат отражением бывшего.

Итак, на примере анализа отрывка из рассказа «Весна в Фиальте» показано наличие многочисленных ритмизованных отрезков, дополнительно отмеченных фоническими и грамматическими особенностями своей структуры, что, по нашему мнению, помогает приблизиться к существу загадочной пленительности набоковской прозы.

¹ Набоков В. Весна в Фиальте. Рассказы. М., 1989.

² См.: Холшевников В. Е. Случайные четырехстопные ямбы в русской прозе // Русское стихосложение. М., 1985.

³ См.: Stoviček Jara. Koga paraŋca. Zagreb, 1957.

Москва

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА И ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД

А. Б. Копелиович

Употребление термина «категория лица» применительно к именам существительным достаточно традиционно. Сошлемся на В. В. Виңоградова, который обращает названный термин к своеобразию фор-

мообразования личных существительных, а также к факту соотносительности в их сфере типа *ударник — ударница*¹. Последнее представляется наиболее существенной различительной особенностью личных существительных (ЛС) и определяет основное содержание термина «категория лица». Правда, в этом случае чаще принято говорить о «средствах обозначения пола» или же о «категории пола»². Наше обращение именно к термину «категория лица» в качестве рабочего вызвано следующими соображениями.

1. В сфере коррелятивных ЛС, обозначающих должность, профессию, род занятий, характеристику интеллектуальных, физических и нравственных качеств человека, мы сталкиваемся чаще всего с привативной организацией оппозиции по признаку рода — пола, при которой лишь один из членов коррелятивной пары обозначает лицо определенного (либо муж., либо жен.) пола, ср.: *учитель* (он и она) — *учительница* (только она); *скромница* (он и она) — *скромник* (только он). Терминологическое словосочетание «средства обозначения пола» в его буквальном смысле может быть применено лишь к именам типа *учительница* и *скромник*, т. е. не отражает в содержательном плане сложности обозначаемого явления.

2. Термин же «категория пола» имеет тот недостаток, что уравнивает личные существительные, в сфере функционирования которых происходит становление и развитие этой категории, с наименованиями животных, в сфере употребления которых рассматриваемая категория выступает как отраженная, да и охватывает лишь часть наименований животных, наиболее связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Однако это и составляет главную задачу данной статьи. Предстоит доказать правмерность категориального статуса рассматриваемого нами лингвистического явления, которое многими языковедами приписывается грамматическому роду. В самом деле, разграничение таких понятий, как «грамматический» и «естественный род», не только в русском, но и в индоевропейском языкознании в целом представляет собой одну из непреодоленных трудностей. Говоря о «естественном роде», имеют в виду ту область, где формы грамматического рода соотносительны с семантикой пола, т. е. личные существительные и наименования некоторой части животных. При этом широко принятым в лингвистике является положение о том, что у большинства имен существительных род представляет собой чисто синтаксическую, релятивную категорию, например, *густой лес*, *широкая река*, *глубокое озеро*, а у другой части существительных — номинативную в случаях типа *наш учитель — наша учительница*, *медведь — медведица* и т. п. Иначе говоря, семантика пола приписывается роду в качестве одного из грамматических значений³.

Но имеет место и иная точка зрения. «...Семантику пола нельзя приписывать грамматическому роду,— пишет А. В. Бондарко.— Иначе придется признать, что для одной части лексических единиц, охватываемых категорией рода, содержание этой категории является

и структурным, и семантическим, а для другой части — лишь структурным. Между тем в других морфологических категориях такой ситуации нет»⁴.

В самом деле, отношения в системе ЛС только частично совпадают с грамматическим родом. Сама квалификация имени существительного по отношению к роду и категории лица производится на различных основаниях. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ряд согласовательных моделей (СМ), расположив их вертикальной колонкой.

Высокий	холм,
сильный	мужчина,
крутая	волна,
круглый	сирота,
-- круглая	сирота,
лечащий	врач,
наша	врач,
упрямая	бухгалтер,
моя	секретарь,
моя	секретарша,
технический	секретарь,
широкое	поле и т. д.

Закроем правую (субстантивную) часть получившейся таблицы и попробуем определить род «спрятанных» существительных. В данной ситуации, когда не принимается во внимание морфология субстантивных слов, становится совершенно очевидным, что грамматическая форма рода любого предметного имени определяется на равных основаниях — по форме согласуемого слова. Имена *холм*, *мужчина*, *сирота* (круглый) в одинаковой мере принадлежат муж. роду, поскольку форму муж. р. имеют согласуемые с ними прилагательные, а имена *весна*, *секретарь* (моя), *бухгалтер* (упрямая); *секретарша*, *сирота* (круглая) принадлежат жен. роду по аналогичной причине. Таким образом обнаруживается тот уровень анализа, при котором род и категория лица практически не могут быть разграничены, что и лежит в основе широко распространенного смешения названных явлений.

Однако, открыв правую часть колонки, мы убедимся в наличии другого уровня анализа, на котором обнаруживает себя следующее противопоставление: с одной стороны, СМ *высокий холм*, *крутая волна*, *широкое поле*, где прилагательные и существительные, состоящие в отношениях согласования, принадлежат одному морфологическому роду, с другой — *сильный мужчина*, *круглый сирота*, *наша врач*, *упрямая бухгалтер*, *моя секретарь*, где в согласовательные отношения вступают имена разных морфологических родов, вскрывая тем самым синтаксическую функцию семантики пола, т. е. категорию лица. Кроме того, имеются СМ и третьего типа: *круглая сирота*,

лечащий врач, технический секретарь, где наблюдается нейтрализация указанного выше противопоставления; с категорией лица СМ третьего типа объединяют личные существительные, на базе которых они построены. Категория лица, следовательно, эксплицируется в рассматриваемых условиях не формой согласуемого слова, как грамматический род, а типом отношений между определяемыми и определяющими словами.

Совпадение рода и категории лица, как уже говорилось, является частичным, ибо обе категории представлены нетождественными типами и различным набором минимальных единиц. Наименьшей единицей проявления рода является согласовательная модель, минимальной же единицей категории лица является преимущественно слово, а СМ в такой роли — лишь частный случай.

В отличие от грамматических форм категории рода, грамматические формы категории лица соотносительны и могут быть описаны в виде системы родо-половой корреляции, представленной на различных уровнях языка: лексическом, морфологическом (словообразовательном) и синтаксическом.

Лексические средства родо-половой корреляции наиболее универсальны и имеются не только в родовых языках, но и в языках, в которых род как согласовательная категория отсутствует. В русском языке, как и в других языках, лексические средства выражения категории лица представлены синтетическим и аналитическим типом.

К синтетическому (супплетивному) типу относятся коррелятивные имена существительные с разными основами, например: *мать — отец, муж — жена, дочь — сын, брат — сестра, мужчина — женщина, мальчик — девочка* и т. д. Обоюдная маркированность (эквивалентная оппозиция) — характерная особенность этого типа.

Лексико-аналитические средства категории лица характеризуются использованием имен *мужчина* и *женщина*, а также их эквивалентов: *мальчик, девочка, юноша, девушка* и некоторых других в сочетании с немаркированным ЛС, например: *тракторист-женщина, тракторист-мужчина, мальчик-сирота, девочка-сирота*. Иногда в подобных конструкциях видят «зародыш аналитизма в выражении пола»⁵.

Лексико-аналитические средства заняли довольно прочное место в системе родо-половой корреляции. Можно говорить о том, что они имеют свою вполне определенную сферу (нишу) функционирования. Например: «Благородный труд женщин-механизаторов заслуживает всяческого уважения» (Правда, 1969. 8 февраля.); «Впервые за многовековую историю Швеции королю будет вручать верительные грамоты дипломат-женщина» (Работница. 1965. № 5).

Необходимость в обращении к лексико-аналитическим средствам объясняется прогрессирующей немаркированностью ЛС муж. морфологического рода. Современный носитель русского языка едва ли обнаружит противоречие в такой, к примеру, фразе: «В 1985 году свыше 20 тысяч выпускников общеобразовательных школ получили специальность младшей медицинской сестры по уходу за больными»

(Правда. 1986. 19 марта). ЛС рассматриваемого типа осознаются соотносительными с мужским полом лишь в условиях сопоставления (контраста), например: «Вничью 4:4 завершился в городе Суботича первый в истории матч шахматистки и шахматиста...» (Правда. 1986. 19 мая); «Это когда же в настоящих ресторанах работали женщины? Это где же вы видели шефа-даму? В столовке? Извольте, там пожалуйста. Но в ресторане, но в солидном доме — никогда. У цезарей, королей, князей и прочей всякой публики... всегда служили повара» (Л. Карелин. *Последний переулоч*).

Немаркированность ЛС муж. морфологического рода особенно ярко обнаруживает себя в необходимости обращения к существительному *мужчина* в ситуациях следующего типа: «Вспоминается случай, когда при посадке в поезд № 6 «Азербайджан» проводник-мужчина не пропустил женщину, а предложил зайти первым в вагон мне, объяснив это тем, что иначе в дороге «потеряем» колесо...» (Правда. 1988. 3 августа).

Соотносительность аналитических единиц сложнее в сравнении с отношениями в сфере синтетических средств категории лица. Дело в том, что, кроме очевидной обоюдомаркированной корреляции типа (А) *проводник-женщина* — *проводник-мужчина*, возможны противопоставления (Б) *проводник* — *проводник-мужчина* и (В) *проводник* — *проводник-женщина* (ср.: *проводник* — *проводница*). Именно корреляция Б реализуется в случае употребления конструкции *проводник-мужчина* в вышеприведенном извлечении из газеты. То же и в этом высказывании: «А всего на высшую ступень пьедестала почета советские гимнасты-мужчины поднимались уже 11 раз, начиная с 1955 года...» (Известия. 1987. 24 мая). Возможно, более точным было бы предположение об одновременной реализации двух противопоставлений — Б и А, так как в рассматриваемом тексте в равной мере исключается употребление и слова *гимнасты*, и конструкции *гимнасты-женщины* с точки зрения содержащейся в данном тексте информации.

К морфологическим (словообразовательным) средствам категории лица относятся коррелятивные однокорневые личные существительные, например: *учитель* — *учительница*, *рабочий* — *рабочая*, *кум* — *кума*, *скромница* — *скромник*, *шельма* — *шельмец*, *блондин* — *блондинка* и т. д.

Коррелятивные отношения личных существительных организуются в ед. ч. двумя типами оппозиции — эквиполентной (*блондин* — *блондинка*, *русский* — *русская*) и привативной (*учитель* — *учительница*, *пионер* — *пионерка*, *скромница* — *скромник*, *шельма* — *шельмец*).

Привативная оппозиция в сфере ЛС имеет в свою очередь две разновидности в зависимости от того, какой из морфологических родов представлен в той или иной соотносительной паре в качестве маркированной или немаркированной формы. Будем в этом случае говорить о характере маркированности коррелятивных отно-

шений. Так, в корреляциях *учитель — учительница*, *пионер — пионерка* в качестве немаркированного выступает муж. морфологический род, а в качестве маркированного — жен. При таком характере маркированности следует говорить о категории лица женского пола. В корреляциях *скромница — скромник*, *шельма — шельмец* в качестве немаркированного выступает жен. морфологический род, а в качестве маркированного — муж., следовательно, речь должна идти о категории лица мужского пола. Что касается типа *блондин — блондинка*, то он несомненно принадлежит категории лица женского пола, на что указывает производность маркированного коррелята со значением «женскости». Это верно и для имен типа *русский — русская*, *кум. — кума*⁶.

К синтаксическим средствам категории лица относятся атрибутивные и предикативные СМ, представляющие собой сочетание немаркированных по признаку рода — пола ЛС с согласуемыми словами типа *круглый сирота — круглая сирота*, *врач сказала — врач сказал*, а также выделительные согласовательные модели типа *один из сирот — одна из сирот*, *одна из врачей — один из врачей*.

Таким образом, в сфере синтаксических средств выражения категории лица минимальные единицы категорий рода и лица имеют одинаковую линейную протяженность. Можно говорить о том, что обе категории в этом случае пересекаются, поскольку категория лица на данном своем участке обнаруживает такую же, как и грамматический род, необходимость синтагматического выражения.

Синтаксические средства родо-половой корреляции вместе с морфологическими составляют систему грамматических средств категории лица, так как совершенно очевиден изоморфизм в организации отношений между коррелирующими единицами морфологического и синтаксического уровня. Во-первых, те же два типа оппозиции — эквиполентная (*мой тезка — моя тезка*, *этот первоклашка*, *твой протеже — твоя протеже*) и привативная (*круглая сирота — круглый сирота*, *наш врач — наша врач*). Во-вторых, привативная оппозиция и на синтаксическом уровне подразделяется на две разновидности по характеру маркированности. 1. Категория лица мужского пола: *круглая сирота* (он, она) — *круглый сирота* (он), *большая скромница* (он, она) — *большой скромница* (он). 2. Категория лица женского пола: *мой коллега* (он, она) — *моя коллега* (она), *наш врач* (он, она) — *наша врач* (она). Категория лица мужского пола в синтаксических средствах охватывает довольно широкий круг лексик (более 500 имен на -а) в сравнении с морфологическим уровнем, на котором соответствия со значением «мужскости» типа *шельмец*, *непосед* представлены единичными фактами, тем не менее находится на периферии современного литературного языка: господствующее же положение и на синтаксическом уровне занимает категория лица женского пола, что и стало чертой новейшего периода развития русского языка.

Наиболее активное развитие получила маркированная предикативная СМ (ПСМ), практически вытеснив формальное согласование в нейтральном стиле и охватив все личные существительные. Вот только несколько случаев использования ПСМ в пределах одного художественного произведения: «На вызов! — крикнула мне диспетчер в десять часов утра; Конец смены, доктор вызов не обслужила, а передала сменщице; Мне редактор посоветовала; В восемь часов утра педиатр поехала на вызов» (Дм. Притула. *Ноль три*).

Маркированная ПСМ распространена и в деловой и даже достаточно строгой книжной речи, например: «Как подчеркивала сама премьер-министр, она не намерена вносить какие-либо серьезные коррективы в свой политический курс» (Правда. 1985. 5 сентября); «Далее докладчик остановилась на проблеме качества товаров и услуг» (Известия. 1987. 24 мая); «Автор предложила классификацию дефектности к глагольной парадигме» (В Я. 1985. № 5).

Для современного русского языка характерна и экспансия маркированной атрибутивной СМ, например: «Оформлявшая билет касир спросила его о чем-то...» (Ю. Стефанович. *Последние дни бича Плецкого*); «Что вяжете? — заинтересовалась инженер-строитель, возвращающаяся из командировки» (Правда. 1986. 1 апреля); «Знакомая кандидат наук вовремя поняла: наука не для нее» (ЛГ. 1986. 8 октября); «Нарушила было сценарий педагог-психолог, попросившая слова» (Учит. газета. 1987. 24 января); «Недовольная контролер, ворча что-то, с невозмутимым видом возвращает мужчине три рубля» (Правда. 1987. 26 декабря.); «И тут пришла педиатр — молодая и симпатичная, несколько, правда, широкоскулая и с непроснувшимся лицом» (Дм. Притула. *Ноль три*).

Факты рассмотренного выше типа в достаточной мере свидетельствуют о развитости в русском языке категории лица в синтаксических средствах. Именно в связи с развивающейся сферой пересечения категорий рода и лица и стоит остро вопрос о родовой квалификации некоторых групп личных существительных. И хотя речь идет о таких структурных изменениях в системе рода, которые могут рассматриваться как прямые последствия развития категории лица, вопрос о родовой квалификации ЛС не относится непосредственно к компетенции самой категории лица.

Система родо-половой корреляции дает основания считать, что в сфере ЛС мы имеем дело не с «лексико-грамматическим разрядом со значением отношения к полу»⁷, а с грамматической категорией (впрочем, в зависимости от уровня анализа можно, по-видимому, говорить и о том и о другом), если иметь в виду, что названная система представляет собой ряды противопоставленных форм, соотносительных по объединяющему их значению.

Кроме того, как мы уже видели, с достаточной очевидностью обнаруживаются две семантические разновидности, различающиеся

тем, что одна из них характеризуется маркированностью значения лица мужского пола, другая — маркированностью значения лица женского пола. Каждая из двух разновидностей в свою очередь соответствует статусу грамматической категории, поэтому вполне правомерны описательные термины «категория лица мужского пола» и «категория лица женского пола».

В таком виде эти термины необходимы при сравнительном и сопоставительном анализе, особенно в аспекте диахронии, синхронный же аспект языкового анализа может быть удовлетворен более лаконичным термином «категория лица» тем более, что в той или иной форме существования конкретного языка (литературный язык, говоры и т. д.) в определенный период развития преобладает или представлена как единственная лишь одна из семантических разновидностей категории лица. В современном русском литературном языке несомненно господствует категория лица женского пола, практически вытеснив свою предшественницу — категорию лица мужского пола, утвердившись и в пределах стилистически нейтральных личных существительных на -а типа *коллега, староста, судья* и т. п.

Диахроническая последовательность, состоящая в первичности развития в сфере ЛС категории лица мужского пола и предполагающая последующую переориентацию на развитие категории лица женского пола, с такой очевидностью наблюдаемая на материале славянских языков, имеет, на наш взгляд, несомненный общиндоевропейский характер. Можно лишь сожалеть, что этот динамический момент не принимался во внимание при построении схемы соотносительности родовых классов ЛС по признаку выраженности / невыраженности семантики пола А. Мейе, Л. Есперсеном, Р. Якобсоном⁸. В результате в качестве общепринятой в и.-е. языковедении утвердилась мысль о признаковости (маркированности) жен. р. и непризнаковости (немаркированности) муж. р. как о статичном и абсолютном состоянии, чему решительно противоречит сохранение категории лица мужского пола в современном русском языке. Славянские языки позволяют привести ряд подобных фактов, в частности, сошлемся на верхнелужицкий, в котором нормой является употребление имен типа *сирота* в женском роде применительно к мужчине⁹.

Признание того, что немаркированность муж. р. является результатом исторической переориентации в сфере категории лица, — это первый и совершенно необходимый шаг и для осознания генетической и онтологической автономности категорий рода и лица, и для адекватного представления о ретроспективе их взаимодействия.

Результатом неразличения категорий рода и лица является и то, что в смысловом согласовании часто усматривают аналитизм в выражении грамматического рода. Возвращаясь к эксперименту со «спрятанными» существительными, мы должны будем признать, что род по сути своей на любом участке своего проявления катего-

рия аналитическая, т. е. что в случае *сильный мужчина, наша врач* аналитизма в выражении рода никак не более, чем в случае *высокий холм и крутая волна*; то же можно сказать, сравнивая атрибутивные СМ *этот домина* и *эта домина*.

Если же говорить об аналитизме в конструкциях типа *наша врач, моя секретарь, такой скромница*, то не в сопоставлении с *наш врач, мой секретарь, такая скромница*, а в сопоставлении с именами *врачиха, секретарша, умник*, с помощью которых значение определенности пола действительно выражено синтетически. Но в этой ситуации совершенно очевидно, что речь идет о сопоставлении аналитических и синтетических средств выражения категории лица, а не рода.

Таким образом, категория лица — отдельная, существующая наряду с родом грамматическая категория, которая тем не менее столь тесно с родом связана, что может вполне по отношению к нему рассматриваться как категория-спутник. К слову говоря, то же самое следует сказать и о категории одушевленности/неодушевленности, тем более, что последняя первоначально тоже развивалась в виде категории лица мужского пола. Так, в СМ *этого юношу* можно видеть момент пересечения с грамматическим родом обоих названных категорий.

Последовательное разграничение категорий рода и лица позволяет более наглядно представить их взаимодействие на диахронной оси. Категория лица, наряду с такими явлениями, как развитие суффиксального словообразования в сфере основ на -а и -о, фонетическая конъюнктура — важнейший фактор, определяющий родовую ситуацию в тот или иной период развития конкретного языка или группы языков.

Не будучи в генетическом смысле предшественницей рода как синтагматической категории, категория лица тем не менее могла участвовать в становлении субстантивных классов на -а и -о благодаря использованию названных основ в качестве словообразовательного средства. Так, наряду со словообразованием в сфере неодушевленных имен типа *пётра* «скала» — *пётроꝛ* «камень», достаточно четко сохранившимся в древнегр. и лат., могло иметь место словообразование ЛС типа *непосед* — *непоседа*. На этом уровне категории лица по понятным экстралингвистическим причинам, что прежде всего выразилось в коррелятивности состоящих в деривационных отношениях имен, получила преимущественное развитие. На этой основе постепенно создавался феномен соотносительности именных классов и пола живых существ.

В свете сказанного особый интерес вызывает уникальное, не встречающееся в других и.-е. языках словообразование на базе а основ типа *veaias* «юноша» из *veaiu* «юность». Тут позволительно предположить, что в древнегр. зафиксирован такой период развития категории лица муж. пола, когда соотносительности между родами и полом еще не было.

Категория лица на словообразовательном уровне испытывает по мере развития морфологическую недостаточность, которая компенсируется средствами синтаксиса — смысловым согласованием¹⁰. Морфологической средой его обнаружения, т. е. точкой пересечения двух категорий, является непризнаковый по отношению к полу класс существительных.

На материале русского языка очевидно то, что точки пересечения маркируют лингвистическое время взаимодействия категорий рода и лица. Сравнение древнегр., лат., древнерус. показывает, что точки пересечения рода и лица как во времени, так и в последовательности возникновения в этих языках не совпадают; так, например, в древнегр. в отличие от древнерус. и лат., а-основа не является точкой пересечения рассматриваемых категорий.

Сравнение уже названных языков обнаруживает и следующую закономерность: чем позже по отношению к родообразованию пересекаются род и категория лица, тем последовательней и тотальной совершается перестройка непродуктивных склонений по родовым а- и о-классам, поскольку в этом случае дольше удерживается действие генетического принципа родообразования¹¹.

¹ См.: Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972. С. 79.

² См., например: Иоффе В. В. Происхождение и развитие категории рода в праиндоевропейском языке // Филологические науки. 1973. № 2. С. 53.

³ См., например: Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981. С. 44—46.

⁴ Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976. С. 195.

⁵ Янко-Триницкая Н. А. Наименования лиц женского пола существительными женского и мужского рода // Развитие словообразования современного русского языка. М., 1966. С. 208.

⁶ Подробно об этом см.: Копелиович А. Б. Род как словообразовательная категория // Вопросы грамматического строя русского языка. Хабаровск, 1977. С. 3—19.

⁷ Бондарко А. В. Указ. соч. С. 189.

⁸ См.: Ельмслев Л. О категориях личности — неличности и одушевленности — неодушевленности // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 127—128; Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 216.

⁹ См.: Ермакова М. И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. М., 1973. С. 29.

¹⁰ См.: Копелиович А. Б. Очерки по истории грамматического рода. Владивосток, 1989. С. 25—37.

¹¹ См.: Копелиович А. Б. Формирование родовых отношений в индоевропейских языках // Филологические науки. 1989. № 3. С. 46—47.

ОБ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ

М. Л. Каленчук

Звучащая речь изучается разными лингвистическими дисциплинами, и при этом каждая из них выделяет в едином объекте свои аспекты исследования. Но не всегда удается однозначно разграничить предметы разных разделов науки о языке. Так обстоит дело с определением статуса орфоэпии в ее соотношении с фонетикой.

Можно выделить два основных подхода к определению границ орфоэпии.

По мнению одних исследователей, понятие орфоэпии включает произношение в широком смысле слова — «фонетическую систему языка, т. е. состав фонем, их качество и реализацию в определенных условиях, а также звуковое оформление отдельных слов и грамматических форм»¹. При таком подходе оказывается, что предмет изучения фонетики и орфоэпии, в сущности, одинаков, что объясняет уже ставший привычным в лингвистической литературе параллелизм фонетического и орфоэпического описания языка (например, аканье описывается и как фонетическая закономерность позиционного размещения звуков, и как орфоэпическое правило). Орфоэпия при этом выглядит переименованной фонетикой, являясь лишь сводом правил устной речи, в котором в приспособленном для практического использования виде повторяются теоретические выкладки фонетики.

Другими исследователями предпринимались попытки разграничить понятия фонетики и орфоэпии. При этом подчеркивалось, что орфоэпия, «опираясь на знание фонетики данного языка... дает индивидуальные нормы для разных случаев»², занимается «частностями», не обусловленными фонетической системой³, «устанавливает произносительную норму», не вдаваясь в вопросы артикуляции и акустики⁴. Подобные критерии, варьируемые во многих работах по орфоэпии, не помогают однозначно разграничить зоны влияния фонетики и орфоэпии, что приводит к тому, что одни и те же факты трактуются разными лингвистами по-разному. Кроме того, не совсем ясно — что же, фонетическое и орфоэпическое описание языка отличаются «углом зрения» на один и тот же языковой материал или же они оперируют в принципе различными фактами.

В работах М. В. Панова впервые поставлен вопрос о разграничении фонетики и орфоэпии в соответствии с двумя типами звуковых закономерностей русского языка. Орфоэпия, по его мнению, изучает «варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила)», фонетика же изучает фонетические законы, т. е. правила реализации фонем, не знающие исключений в данной системе языка⁵.

При подобном подходе фонетика и орфоэпия различаются спецификой изучаемого ими языкового материала. Законы позиционных чередований звуков, строго обязательные для любого говорящего на русском литературном языке,— это область фонетики. Примеры фонетических законов: звонкие согласные на конце слова перед паузой чередуются с глухими (*подру́ [г] а — дру [к]*); фонема ⟨о⟩ в позиции 1-го предударного слога после твердого согласного реализуется звуком [а^в] (*в [а^в] да́*). Сосуществование в языке двух (а иногда и более) вариантов произношения — это область орфоэпии. Например, слова *булочная, дожди* можно произнести двояко: *бу́ло [шн] ая* и *бу́ло [ч'н] ая*, *до [ж'и] и* и *до [жд'и] и* — оба варианта правильны и допустимы в литературном языке.

Предложенный М. В. Пановым критерий разграничения фонетики и орфоэпии (фонетика — то, что безвариантно и универсально, орфоэпия — область вариантности) позволяет разграничить фонетические и орфоэпические нормы языка в соответствии с принятой в лингвистике типологией норм⁶. Фонетические нормы — это нормы императивные (т. е. строго обязательные), нарушение таких норм говорит о невладении русским литературным языком. Орфоэпические нормы — это нормы диспозитивные (т. е. восполнительные), они допускают параллельные способы выражения одного и того же значения.

Остановимся подробнее на понятии вариантности как категории орфоэпии. В современной лингвистике является уже общепризнанным факт, что формальные видоизменения одной и той же единицы, называемые ее вариантами, не являются случайностью в существовании языка, наличие вариантов на разных уровнях языка — неизбежное следствие его эволюции.

Говоря о варьировании произносительной нормы, обычно разграничивают орфоэпию и орфофонию⁷. Орфоэпия (в этом случае термин *орфоэпия* выступает в более узком значении, чем обычно) при этом понимается как «правила, определяющие нормативный фонемный состав слова», «орфофония как правила произношения оттенков (аллофонов) фонем», т. е. при орфоэпической вариантности возможность двоякого произношения связана с изменением фонемного состава той или иной морфемы (улыбаю [с] — ⟨с⟩, улыбаю [с'] — ⟨с'⟩). При орфофонической вариантности морфемы различаются звуками, принадлежащими одной фонеме (*в [и^в] сна́ — в [э^в] сна́ — в' ⟨о⟩ сна*).

Необходимо отметить, что употребление термина *орфоэпия* в широком и узком значении — 1) наука о правильном произношении; 2) варьирование произносительной нормы, связанное с изменением фонемного состава морфем,— крайне неудобно. В связи с этим предлагается использовать термины *орфоэпическая вариантность фонем* и *орфоэпическая вариантность звуков*, сохраняя за ними значение терминов *орфоэпия* и *орфофония* в понимании Л. А. Вербицкой.

Традиционно под понятием орфоэпической вариантности объединяются совершенно разнородные факты.

Так, можно говорить о вариантах произношения одних и тех же морфем, как корневых, так и аффиксальных. Подобная вариантность может быть связана как с варьированием звуков, так и с варьированием фонем.

Говоря об орфоэпической вариантности звуков при произнесении одних и тех же морфем, необходимо отличать такого рода варианты от фонетических позиционных чередований: орфоэпическая вариантность звуков всегда происходит в одной и той же фонетической позиции (*в [и^э] сна́ — в [э^и] сна́*), в то время как при фонетических чередованиях звуки всегда позиционно распределены (*в [ó] сны́ — ударный слог, в [и^э] сна́ — безударный*).

Орфоэпическая вариантность фонемного состава одних и тех же морфем связана с непозиционными заменами фонем: например, в словах конг [р^э] сс — конг [р^э] сс, *було [шн] ая — було [ч'н] ая* возможность двоякого произношения одних и тех же морфем связана с изменениями в их фонемном составе (конг [р^э] сс — конг [р^э] сс, *було [шн] ая — було [чн] ая*).

При этом к орфоэпии не будут относиться следующие факты.

1. Случаи, когда изменение фонемного состава морфемы связано с историческими чередованиями фонем (бере<г> — прибре<ж>ный, дру<г> — дру<з'>ья). Чередования такого рода отличаются от орфоэпической вариантности фонем тем, что всегда происходят в разных словообразовательных позициях, т. е. в соседстве с разными морфемами, орфоэпическая же вариантность фонем наблюдается при условии словообразовательного тождества слова (<д'>еканский — <д>еканский).

2. Случаи, когда изменение фонемного состава морфемы влечет за собой изменение в семантике: подобные факты являются объектом изучения лексики (например, *ист [э] киший год — ист [ó] киший кровью, оглаш [ó] нный приговор — кричит, как оглаш [э] нный*).

3. Слова типа [к] алóша — [г] алóша, шка [п] — шка [ф], н [о] ль — н [у] ль, обусл [ó] вливать — обусл [á] вливать, стр [у] гать — стр [а] гать и др. В подобных случаях различия в фонемном составе морфем равно безразличны и для фонетики, и для орфоэпии: они не нарушают никаких фонетических законов и, являясь фактом оформления конкретных корневых морфем, не выходят за пределы единичных, индивидуальных изменений в произношении, не образуют каких-либо тенденций в эволюции произносительной нормы⁸. Подобные варианты слов обычно называют фонематическими и рассматривают отдельно от орфоэпических.

Встает вопрос о правомочности отнесения к орфоэпии случаев варьирования фонем в аффиксах типа *-ий* (в формах прилагательных, оканчивающихся на *-кий, -гий, -хий*), *-ива* (в глагольных формах на *-кивать, -гивать, -хивать*) и т. п. То, что

орфоэпия занимается «законами произношения грамматических форм» (т. е. орфоэпическими вариантами в аффиксах), является скорее традицией описания языкового материала, чем сутью орфоэпии⁹. Варианты произношения подобных аффиксов являются не следствием эволюции каких-либо фонетических закономерностей, а изменением чисто грамматическим, ведущим к замене одного формообразовательного или словообразовательного аффикса другим. В связи с этим целесообразно было бы создать свою «орфоэпию» на словообразовательном и морфологическом ярусах языка (или, как предлагали некоторые лингвисты, особую дисциплину — ортологию), «основной категорией которой будет служить вариантность (в отличие от фонетики, грамматики и др.)»¹⁰.

Но есть одно обстоятельство, роднящее вариантность фонем в аффиксах с орфоэпической вариантностью фонем: несмотря на возможность разного произношения и разного фонемного состава, пишутся аффиксы (как и все морфемы с орфоэпической вариантностью) всегда одинаково, т. е. по морфологическому принципу орфографии, позволяющему поддерживать единообразный вид морфемы на письме, а не по фонематическому, как подавляющее большинство русских морфем и слов.

Следует остановиться подробнее на этом свойстве орфоэпической вариантности: сосуществующим синхронно произносительным вариантам всегда соответствует одинаковая форма письменной записи. Например, за сочетанием букв *чн* может скрываться произношение [ч'н] (*точный*) и [шн] (*скучно*); возвратный постфикс *-ся* всегда пишется одинаково вне зависимости от того, твердый или мягкий согласный в нем произносится; сочетанию букв *сч* может соответствовать и [ш'ч], и [ш'] (*расческа*), и т. п. Не вытекает ли из этого, что орфоэпия занимается правилами чтения, т. е. формулирует законы перевода написанного в звучащую речь? Представляется, что именно это имел в виду Р. И. Аванесов, когда писал о своей книге «Русское литературное произношение»: «Объем вопросов, рассматриваемых в этой книге, лучше всего уясняется следующим образом: представим себе написанный текст с проставленными ударениями; вопрос о том, как он должен произноситься в пределах каждого слова ... и является предметом настоящего пособия»¹¹.

Предположение о том, что орфоэпия сводится к перекодированию письменной записи в звучащую речь, казалось бы, можно опровергнуть с помощью простого аргумента: разве в бесписьменных языках нет орфоэпических норм? Но, анализируя особенности орфоэпической системы русского языка, мы не можем не учитывать многовекового параллельного функционирования звуковой и письменной систем, что, несомненно, сформировало орфоэпическую ситуацию, сильно отличающуюся от положения, которое складывается в бесписьменных языках.

В связи с этим можно допустить, что орфоэпия при перехо-

де от письменной записи к звучащей речи выполняет в какой-то мере те же функции, что и орфография при переходе от звучащей речи к письменной. В ведении орфографии находятся только те случаи, когда одному и тому же произношению могут соответствовать разные написания ([са'пóк] — *сапог, сопог, сапок, сопок*; [ра'ман] — *Роман, роман* и т. п. Орфоэпия же занимается только теми случаями, когда одному и тому же написанию может соответствовать разное произношение (*тихий* — *тí*[х'џ] и *тí*[х'иџ]; *дожди* — *до*[ж'í] и *до*[жд'í]).

Остальная часть материала, нуждающаяся в перекодировке «звучающая речь — письмо» и «письмо — звучащая речь», регламентируется правилами графики и фонетики, а не орфографии и орфоэпии. Этим объясняется и особая практическая направленность и орфографии, и орфоэпии — обе они являются кодификационными дисциплинами, поскольку проблема нормы возникает только там, где есть выбор (написания или произношения в нашем случае).

То, что русское письмо, призванное отражать фонемный состав слов и морфем, игнорирует различия между орфоэпическими вариантами, служит еще одним доказательством того, что орфоэпия оперирует специфическими звуковыми закономерностями, воспринимаемыми носителями языка не так, как фонетические законы.

Обобщая все сказанное выше, можно сформулировать понятие орфоэпической вариантности следующим образом: орфоэпические варианты — это сосуществующие синхронно в языке звуковые или фонемные видоизменения морфем, происходящие в одной и той же фонетической позиции и соответствующие одинаковой форме письменной записи.

Но помимо описанных случаев орфоэпической вариантности, к орфоэпии традиционно относят и некоторые случаи, когда вариантов произношения конкретных морфем в синхронном срезе языка не существует.

Например, слово *модель* произносится по современным нормам обязательно с твердым [д] — *мо*[дэ]ль, а слово *демон* — только с мягким — [д'э]мон. Почему же твердость или мягкость согласного перед ⟨э⟩ в этих словах регулируется орфоэпическим правилом? Если бы в языке сложилась такая ситуация: в одних заимствованных словах перед ⟨э⟩ согласный всегда произносился бы твердо, а в других всегда мягко, то произношение этих слов, отражая их фонемный состав, по сути относилось бы к лексике. Но есть два фактора, заставляющих все же считать случаи, подобные описанному, областью орфоэпии. Во-первых, всегда существует определенная «зона вариантности» между двумя безвариантными полюсами (в некоторых словах допустимо двойное произношение согласного перед ⟨э⟩: [д']екán и [д]екán, со[н']ét и со[н]ét и т. п.). Во-вторых, несмотря на разницу в фонемном составе, пишутся подобные морфемы одинаково.

В таких случаях правила произношения «привязаны» к опреде-

ленным корневым морфемам: в одних морфемах допустим один вариант, в других — другой, в третьих приемлемы оба. Например, букве *a* в положении после шипящих и *ц* в 1-м предударном слоге может соответствовать в произношении и [ы^р], и [а^б]: в одних словах по современной норме только [ы^р] — *лош* [ы^р] *дѣй*, *пож* [ы^р] *лѣй*, в других только [а^б] — *ж* [а^б] *рѣ*, *ш* [а^б] *гѣ*, в третьих допустимы оба варианта — *ж* [ы^р] *кѣт* и *ж* [а^б] *кѣт*, *ж* [ы^р] *смѣн* и *ж* [а^б] *смѣн*.

Итак, можно выделить два принципиально разных типа орфоэпической вариантности — случаи, когда синхронно сосуществуют варианты произношения конкретных морфем, и случаи, когда подобных вариантов нет. Объединяет обе формы орфоэпической вариантности тот факт, что единообразно передающимся на письме морфемам с орфоэпической вариантностью могут соответствовать разное произношение и разный фонемный состав.

А. А. Реформатский писал об орфоэпии: «Совершенно особые “условия” представляют собой те случаи, когда произношение, вопреки системе и норме, следует “закону форм” или “закону слов”. Я сознательно беру эти слова в кавычки, здесь скорее не закон, а “беззаконие”»¹². В чем же «беззаконие» орфоэпии, какие законы она нарушает? Очевидно, речь идет о синхронических фонетических законах — они безысключительны и универсальны, действуют вне зависимости от конкретных морфем.

Синхронические фонетические и орфоэпические закономерности отличаются друг от друга процедурой приведения фонемы к звуку.

Фонетический синхронический закон формулируется так: зная фонему и фонетическую позицию, в которой она находится, можно однозначно определить, каким звуком эта фонема будет представлена в речи (например, фонема ⟨o⟩ в позиции 1-го предударного слога после твердого согласного реализуется звуком [а^б]).

Орфоэпическая синхроническая закономерность формулируется по-другому: для того чтобы узнать, каким звуком представлена та или иная фонема, недостаточно знать, в какой фонетической позиции она находится — необходимо также учитывать, в каких орфоэпических условиях она функционирует. Принимая во внимание, что позиции в самом общем смысле слова — это «условия употребления и реализации фонем в речи»¹³, любые факторы, влияющие на появление того или иного варианта произношения при тождестве фонетических позиций, можно назвать орфоэпическими позициями.

Орфоэпические позиции могут быть различными — социолингвистическими или собственно лингвистическими.

Известно, что сосуществующие в языке произносительные варианты разграничиваются, начинают употребляться в разных социолингвистических условиях. Например: 1) в разных территориальных разновидностях литературного языка (*и* [ш'й] *ў* — в Москве, *и* [ш'ч] *ў* — в Ленинграде); 2) в синхронно сосуществующих хронологических орфоэпических подсистемах (*улыбнѣй* [с] — по

«старшей» норме, *улыбн́и* [с'] — по «младшей»); 3) в таких разновидностях орфоэпической системы, как женская и мужская речь¹⁴.

Из этого следует, что орфоэпические варианты, формирующие конкретную произносительную норму, позиционно распределены. Но позиции здесь особые — орфоэпические. От чего зависит, звуком [с] или звуком [с'] будет представлена согласная фонема приставки в слове *съехать*, например? От того, какой разновидностью орфоэпической системы — «старшей» или «младшей» — пользуется носитель языка. Следовательно, использование определенной подсистемы — в данном случае хронологической — является единственным фактором, влияющим на появление того или иного звука (при том, что фонетические условия и при [с'jэ] *хатъ*, и при [сjэ] *хатъ* одинаковы). Это дает нам право считать хронологические разновидности орфоэпической системы, сосуществующие синхронно, орфоэпическими позициями (так же, как и другие указанные выше социоподсистемы). Орфоэпические позиции такого рода связаны с социальными характеристиками носителей языка (место жительства, пол, возраст и др.). К социолингвистическим орфоэпическим позициям следует, очевидно, отнести и стиль произношения, поскольку выбор того или иного произносительного варианта, имеющего стилистическую окраску, зависит от внешних условий речи (в одних ситуациях уместно произношение п[o]́эт, в других — п[a^а]́эт).

Но существуют орфоэпические позиции и другого рода. В случаях, когда вариант произношения проявляется только в определенных морфемах или словах, сама эта морфема или слово и является позицией, требующей появления данного варианта. Например, то, что в словах *модель*, *модельер*, *моделировать*, *модельный* и др. перед ⟨э⟩ произносится твердый согласный, является вариантом, «привязанным» к корню *модел'*. А в словах *ку* [пé] и *ку* [п'э] *йный* позицией, обуславливающей появление варианта произношения, является само слово, а не корневая морфема, поскольку при одном и том же корне в разных словах закреплены разные произносительные нормы.

Орфоэпическими позициями можно считать и многие другие факторы, влияющие на появление того или иного произносительного варианта при одинаковых фонетических условиях.

Орфоэпические позиции отличаются от фонетических одним важным свойством: если фонетическая позиция требует обязательной реализации фонемы тем или иным звуком, то орфоэпическая позиция во многих случаях предсказывает появление звука вероятно, статистически.

Орфоэпические позиции требуют дальнейшего детального описания и классификации, что позволит представить орфоэпическую систему языка как подсистему звукового яруса, оперирующую па-

радиками позиционно распределенных орфоэпических вариантов, наряду с фонетической подсистемой, оперирующей парадигмами позиционно распределенных звуков.

¹ Аванесов Р. И. Орфоэпия // Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ф. П. Филина. М., 1979. С. 185.

² Реформатский А. А. Введение в языковедение М., 1967. С. 224—225.

³ См.: Ганиев Ж. В. Фонетика и орфоэпия // Современный русский язык. М., 1986. С. 99—100.

⁴ См.: Матусевич М. И. Фонетика. Современный русский язык. М., 1976. С. 6.

⁵ См.: Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М., 1979. С. 195—196.

⁶ См.: Скворцов Л. И. Норма (языковая) // Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ф. П. Филина. М., 1979. С. 163—164.

⁷ См.: Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. Л., 1976.

⁸ Ср.: Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967. С. 321.

⁹ Ср.: Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М., 1978. С. 196—197.

¹⁰ Ахманова О. С., Бельчиков Ю. А., Веселитский В. В. К вопросу «правильности» речи // Вопросы языкознания. М., 1960. С. 35.

¹¹ Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984. С. 17.

¹² Реформатский А. А. О типах позиций // Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. М., 1987. С. 127.

¹³ Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 115.

¹⁴ См.: Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи в современном русском языке // Proceedings the XI International Congress of Phonetic Sciences—Tallinn, 1987. Vol. 1. P. 191—194.

Москва

СЕМНЫЙ СОСТАВ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКОЙ «ПО-»

(синхронный и исторический аспект)

А. А. Караванов

Построение классификации аспектуальных значений русского глагола, адекватно отражающей языковые факты, должно, как нам кажется, опираться на метод семного анализа¹, так как он позволяет довести исследование аспектуальной семантики глагола до уровня ее элементарных составляющих. Исходя из того, что вид является носителем грамматического значения, необходимо четко ограничивать в составе глагола лексические семы от грамматических (видовых). Грамматическими семами совершенного вида являются 'результативность' — у глаголов, «называющих действие достижения результата и имеющих в своем значении сему ПРОЦЕСС

как пройденную длительность: *решить* (задачу)², либо 'одноактность' — у глаголов, «называющих действия, совершенные в один прием: *крикнуть, ..., постоять*» (там же).

Мы разделяем точку зрения Н. С. Авиловой, согласно которой приставка «по-» является «наиболее стандартным выразителем ограничительной совершаемости в русском языке»³. Нам представляется интересным выявить, каким образом приставка «по-» развила указанное значение, которое не было ей свойственно в начале исторического периода развития языка.

Языковые факты свидетельствуют, что древнерусскому префиксу «по-» было свойственно перфективное значение.

Чтобы продемонстрировать это, обратимся к древнерусскому глаголу «повоювати»⁴, образованному от исходного «воювати», означавшего 'разорять'. Глагол «повоювати» не мог иметь в древнерусском языке значение 'поразорять' ('разорять в течение некоторого времени'). В древнерусском «повоювати» означало 'разорить'; таким образом, приставка «по-» перфективировала глагол, сообщая ему предельную семантику. Аналогичным образом предельным было значение глаголов «погадати», «пограбити». «Погадати» означало 'обдумать, рассудить' (а не 'гадать в течение некоторого времени', как в современном русском); «пограбити» означало 'разграбить' (в отличие от современного значения 'грабить в течение некоторого времени'). Глагол «поговорити» также имел в древнерусском предельное значение ('переговорить, рассудить'), резко расходящееся с современным ограничительно-длительным ('говорить в течение некоторого времени'). Даже у такого, на первый взгляд, типичного ограничительно-длительного глагола, как «пожити», мы не вправе предполагать ограничительно-длительную семантику, что следует из таких примеров его употребления: «...поживе лѣта многа...»; «сію жизнь добръ поживше, и будущихъ благъ сподобимься»; «дни о Господѣ цѣломудрено и безъгрѣшно поживемъ».

Совершенно очевидно, что во всех этих случаях префикс «по-» имеет отчетливо перфективное (предельное) значение, и поэтому по нормам современного языка мы будем вынуждены во всех трех фразах заменить глагол «пожити» глаголом «прожить», предельная семантика которого точнее соответствует семантике древнерусского глагола: мы скажем «прожил много лет», а не «пожил много лет»; «прожил эту жизнь», а не «пожил эту жизнь» и т. д.

Результативное значение, свойственное древнерусскому префиксу «по-» во многих случаях его употребления, отмечалось П. С. Сигаловым⁵. Автор, исследуя процесс становления у этого префикса ограничительной семантики, показывает, что первоначально ограничительная семантика развивается у стальных глаголов, что объясняется «наиболее четко выраженным у стальных глаголов значением неопределенности»⁶. П. С. Сигалов дает убедительную синхронную семантическую классификацию делимитативных глаголов и

подробно прослеживает хронологию появления в древнерусских текстах глаголов с ограничительной семантикой. Однако мы считаем, что в его работе не дается собственно обоснования формирования ограничительного значения. У автора правильно отмечены начальная и конечная точки исторического языкового процесса: начальная — широчайшая представленность в языке результативных глаголов с префиксом «по-» и отсутствие ограничительного способа действия; конечная — наличие в языке глаголов делимитативного способа действия с приставкой «по-».

Но самый интересный для историка языка вопрос: почему в языке произошло данное изменение? — автором фактически не поставлен. Ф. де Соссюр и Э. Сепир отмечали, что любое изменение в языке есть результат длительной борьбы противоположных тенденций развития. В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра говорится: «На первый взгляд, различие между системой и историей, между тем, что есть, и тем, что было, представляется весьма простым, но в действительности то и другое так тесно связано между собой, что разъединить их весьма затруднительно»⁷. Ту же мысль на конкретном языковом материале подтвердил Э. Сепир, который в тривиальном, на первый взгляд, явлении — стремлении англоговорящих не употреблять вопросительное местоимение «who?» («кто?») в позиции объекта — вскрыл борьбу разных тенденций языкового развития, действующих на протяжении столетий⁸.

П. С. Сигалов в своем историческом исследовании резюмирует этапы рассматриваемого языкового процесса следующим образом: «1) дериваты с приставкой *по-* от стальных глаголов имеют результативное (общерезультативное) значение, 2) дериваты в контексте могут получать ограничительное значение (здесь, собственно, не второй этап, а частная реализация первого этапа), 3) дериваты выступают в качестве ограничительных глаголов, можно говорить об ограничительном значении самого глагола (т. е. и приставки) независимо от контекста»⁹.

Очевидно, что пп. 1—2 фиксируют исходное состояние языковой системы, а п. 3 — конечное, современное состояние. Что же касается собственно диалектики процесса, то она остается «за кадром». Ограничительное значение приставочного глагола на «по-» рассматривается как контекстуальная реализация общерезультативного значения. П. С. Сигалов так формулирует свой теоретический принцип: «...скорее всего здесь происходило явление, названное М. Бреалем семантическим «заражением»: значение ограничительного обстоятельства, часто употреблявшегося при результативном глаголе с приставкой *по-*, который был образован от стального глагола, абсорбируется приставочным глаголом и становится тем самым и значением его приставки»¹⁰ (напр., в случаях типа «И мало полежа́въ Феодоси́и так възрѣвъ на нбо и великъмъ гласмъ, лице весело имы, и рече...»¹¹, где глагол «полежати» имеет ограничительное значение, сочетаясь с обстоятельством «мало»).

Мы разделяем мнение автора о семантическом «заражении», однако оно относится лишь к конечному этапу процесса и не содержит ответа на главный вопрос: почему в определенную эпоху семантика префикса «по-» оказалась столь «податливой» к влиянию контекста — ведь более привычно считать, что лексическая сема просто согласуется с семантикой контекста, а не изменяет свое значение под ее влиянием; более того, у нас есть основания считать, что в древнерусском языке закон семантического согласования имел более «жесткий» характер, чем в современном [ср., напр., употребление одноименных предлога и префикса в древнерусском языке («...из нея же исходить рѣка ефиопская Чермна»¹²; «Яко въсхотѣ ляти в кандило масло то, и се видѣшь мышь впадшу в не...»¹³) — и невозможность такого употребления в современном русском переводе], что как раз должно бы свидетельствовать против тезиса о «заражении» приставки значением контекста.

Нам представляется, что указанное семантическое «заражение» имело необходимую предпосылку: перфективное значение префикса «по-» оказалось в известный период развития языка ослаблено; именно «ослабленное» значение должно было подвергнуться «заражению» семантикой окружающего контекста. Факты свидетельствуют, что древнерусский префикс «по-» выступал с «ослабленной» перфективностью не только в сочетании с ограничительным обстоятельством. Напр.: «Боуди поуть ихъ тьма и съблазн и а҃нглъ гѣнь поганая ю»; «Таковѣи николи же не погрѣшаютъ, нѣ бес печали прѣходить все житѣе своею»; «Злая жена всю жизнь мужа своего погубляетъ»; «Волхво(ва)нѣю вѣруе̑ і пожигае̑ сѣгне̑ невиннѣю члѣвкы̑»; «Мало пожимаю» и т. д.

На первый взгляд, в приведенных случаях отсутствие у глаголов на «по-» перфективной семантики объясняется просто: суффикс имперфективации нейтрализует перфективное значение «по-». Однако данное объяснение удовлетворительно лишь при условии, что мы заведомо исключаем возможность присоединения префикса «по-» к уже имперфективированному глаголу типа, напр., «по- + грѣшати»; но поскольку глагол «грѣшати» в древнерусском языке существовал, то мы не имеем права исключать такую возможность. Для современного носителя языка кажется естественным предположить, что глагол «погрѣшати» был производным от «погрѣшити» и составлял его видовую пару, однако этому противоречит расхождение в лексических значениях этих двух глаголов, вследствие чего мы не можем признать их видовой парой: «погрѣшити» имеет значение 'промахнуться' (напр.: «Погрѣшивъ пса, и оударить челоуѣка»), тогда как «погрѣшати» — 'ошибаться, заблуждаться' (см. пример выше).

Заметим, что лексическая нетождественность глаголов «погрѣшити» и «погрѣшати» склоняет нас именно к тому, чтобы предположить производность «погрѣшати» от «грѣшати»; но в этом случае префикс «по-» выступает как префикс с «ослабленной» перфектив-

ностью. Ср. также пару «побарати» — «барати»: «БАРАТИ, БАРАЮ—... сражаться...— Гдѣ барааше по йили»; «ПОБАРАТИ, ПОБАРАЮ — сражаться, биться за кого-нибудь: — Ярослав оутерь пота, побараа по браи своеи, и съде в Киеве». Из приведенных примеров следует, что семантически «побарати»= «барати», т. е. префикс «по-» не обладает общерезультативным значением.

Наконец, самый характерный ряд случаев неперфективного употребления «по-» представлен глаголами, не содержащими суффикса имперфективации, напр.: «Дьмянови же *повѣстащоу* с нимъ съноу, сгрѣшихъ, не давъ тобѣ Галича» (инфинитив «повѣстити», значение — «вести речь, передавать слова»); «От агъчиваже отъ оупиваниа, дрѣмлють, *позвѣють*» (инфинитив «позвѣти», значение — «зевать»). Особенно интересны случаи, когда префикс «по-» способен выступать то как общерезультативный, то как деперфективированный даже в пределах одной и той же (!) глагольной лексемы. Так, соединяясь с основой «жеч-», «по-» выступает то как перфективный префикс: «*Пожегъ* землю и повоевавъ», то как не имеющий общерезультативной семантики: «угль огоньъ исушяеть и пожьжеть влагу и очиштяеть»¹⁴.

Указанные случаи неперфективного употребления префикса «по-» свидетельствуют о нестабильности существовавшей в древнерусском языке категории предельности глагольного действия. Падение этой категории было предопределено самим ее противоречивым характером: с одной стороны, значение предельности — это лексическое значение, так как, по выражению Ю. С. Маслова, «между предельным и по смыслу ближайшим к нему непредельным значением *никогда нет абсолютного лексического тождества*»¹⁵; с другой стороны, это значение достаточно абстрактно, что не свойственно лексическому значению: «Категория предельности/непредельности представляет собой наивысшую абстракцию в области способов действия, абстракцию, в некотором роде даже перерастающую рамки лексической группировки глаголов и как бы стоящую «на пороге» грамматики» (там же). Приведенные формулировки Ю. С. Маслова относятся к категории предельности глагольного действия в готском языке, однако мы считаем, что они приложимы также и к древнерусскому глаголу.

Неизбежность падения категории предельности в древнерусском языке была обусловлена тем, что эта категория, находясь «между» лексикой и грамматикой, не имела устойчивой опоры в языке: это значение — уже не лексическое, так как оно слишком абстрактно и охватывает довольно большую часть глагольных основ, но и не грамматическое, поскольку грамматическим может стать лишь значение, способное распространяться на *всю* данную часть речи, что для категорий предельности затруднительно, потому что некоторые группы глаголов (в первую очередь статальные) плохо вписываются в категорию предельности в силу особенностей их семантики.

Именно статальные глаголы составляли «слабое звено» древнерусской категории предельности, поэтому с них и началось, как справедливо отмечает П. С. Сигалов, формирование ограничительного способа действия. Однако мы не считаем, что развитие ограничительного глагольного значения было просто «частной реализацией» общезулытийного значения в контексте с темпоральными ограничителями: возникновению ограничительного значения предшествовал период разложения категории предельности (обусловленного ее внутренней противоречивостью — см. выше), в результате чего семантически «ослабленный» префикс «по-» оказался способным «заражаться» семантикой длительности при соединении с основой статального глагола.

И был еще один процесс, без которого формирование ограничительного способа действия было бы невозможно: развитие категории вида, основанной также на противопоставлении предельных основ — непредельным, но с более абстрактным и менее четким содержанием понятия *предельности*: если у древних предельных глаголов с префиксом «по-» предельность фактически означала результативность, то в рамках категории вида понятие предельности приобретает достаточно общий и неопределенный характер: даже нерезультативная основа совершенного вида оказывается способна выражать предельное значение (напр., у ограничительных глаголов типа «пожить», «побыть»). Следовательно, возникновение ограничительных глаголов с префиксом «по-» является результатом двух различных тенденций развития языка, движущихся как бы навстречу друг другу: падения древней категории предельности и развития категории вида.

Что касается вопроса о соотношении древнерусской категории предельности с современной, то эти две категории существенно отличаются одна от другой. Если в древнем языке эта категория носила перфективный характер, выражая идею только результативного предела, то в современном языке вместо нее представлены многочисленные способы действия, каждый из которых выражает значение лишь какого-либо частного предела, которое может быть очень далеко от значения результативности (напр., ограничительный способ действия).

Отсутствие абстрактной категории предельности в современном русском языке лучше всего иллюстрирует тот факт, что в тех случаях, когда в современном русском надо подчеркнуть достижение именно абстрактно-результативного предела действия, используется не какой-либо результативный способ действия, а совершенный вид: «Он решал, но не решил задачу». Древние предельные глаголы иногда пережиточно сохраняются в языке как разговорные или просторечные, сосуществуя с нормативными, напр.: «Деревня *погорела*» (при нормативном «сгорела»). Кроме того, они могут употребляться как экспрессивные синонимы соответствующих нормативных глаголов: «*Порушить* храм» (при норм. «разрушить»),

«Поругать святыню» (при норм. «осквернить»). Ср. также пример из речи носителя языка: «Раненый Мансеев сделал несколько шагов и с криком: «*Меня порубили...*» — упал» (Труд. 1989. 29/1).

В тот период, когда видовая корреляция в древнерусском языке была еще относительно слабо развита, а категория предельности только начинала распадаться, ситуация отчасти напоминала полуженце в готском языке. Готский префикс *ga-* так же, как и древнерусский «по-», соединяясь с глагольными основами, в одних случаях создавал семантический дублет исходного бесприставочного, напр.: *waigran* — *gawairan* ('бросать')¹⁶, в других — новый глагол, лексически не тождественный исходному, напр.: *slepan* — *gaslepan* ('спать' — 'уснуть', 'засыпать') (там же).

Относительно значения готского префикса *ga-* лингвистами выдвигались взаимоисключающие гипотезы, но нам представляется наиболее убедительной позиция Ю. С. Маслова, который показал, что противоречие заключено в самой ситуации в готском языке, где, с одной стороны, существовал «абстрактный показатель предельности» *ga-*¹⁷, а с другой стороны, его употребление нередко оказывалось избыточным, что приводило к «асемантическому параллелизму» обоих членов глагольной пары (там же). Естественно, что такая ситуация не могла быть устойчивой, поэтому германские языки не сохранили префикс *ga-* как «абстрактный показатель предельности».

Иной оказалась судьба древнерусской приставки «по-». Попав в чрезвычайно благоприятное для нее русло развития категории вида, она грамматикализовалась, превратившись в грамматическую морфему совершенного вида (напр., в глаголах типа «построить»). Дефектированный или, напротив, слишком абстрактный характер ее значения мог бы явиться главной причиной ее утраты в дальнейшем развитии языка, однако в условиях формирования грамматической категории вида именно дефектированные (либо слишком абстрактные) приставки оказались подходящим материалом для выражения нового грамматического значения. В готском языке не было вида, поэтому «абстрактный показатель предельности» должен был утратиться.

Чтобы показать, как древнее перфективное значение префикса «по-» трансформировалось в грамматическое значение совершенного вида, обратимся к глаголу «полюбить». В древнерусском языке глагол «полюбити» имел значение 'согласиться' и поэтому, естественно, лексически не был тождествен исходному «любити». Однако дальнейшее переосмысление значения приставки «по-» в связи с развитием категории вида привело к лексическому выравниванию этих двух глаголов, вследствие чего возникла соотносительная по виду пара глаголов «любить» — «полюбить».

Но префикс «по-» на протяжении исторического развития языка приобрел не только видовую (грамматическую) семантику; при соединении с длительными по значению основами и под их непо-

средственным влиянием он приобрел, кроме того, лексическую семантику ограничительной длительности.

Обратимся к современному русскому языку и рассмотрим основы несовершенного вида, от которых с помощью приставки «по-» образуются глаголы совершенного вида со значением ограничительной длительности. Они образуются:

а) от основ глаголов с длительной семантикой абсолютного несовершенного вида, напр.: «побегать», «пограбить», «подержать», «поездить», «пожить», «полежать», «посидеть», «поспать», «походить» и т. д.;

б) от основ глаголов несовершенного вида с длительной предельной семантикой, имеющих видовую пару совершенного вида с грамматической семьей 'результативность', образованную без участия приставки «по-», напр.: «побудить» (спящего) — при видовой паре «разбудить»; «попереводить» (текст) — при видовой паре «перевести»; «порешать» (задачу) — при видовой паре «решить».

Что касается типа а), то возникновение у этих глаголов ограничительно-длительной семантики вытекает из того факта, что на основу с длительной и непредельной семантикой переносится предельная семантика совершенного вида (сема 'одноактность'); поскольку результативного предела эти основы выражать не могут, им остается выражение лишь временного предела, отчего и возникает семантика ограничительной длительности. То есть: 'длительность' (выраженная основой) + 'предельность' (выраженная совершенным видом) → ограничительная длительность.

Сложнее обстоит дело с типом б). Здесь представлены предельные (результативные) основы, и от их соединения с префиксом «по-» можно было бы ожидать образования видовой пары, а не способа действия. И в ряде случаев подобное явление действительно имеет место. Так, префикс «по-» формирует видовую пару совершенного вида с семьей 'результативность' от глаголов типа «белить» (ср. корректность фразы «белил стену, но не побелил»), «строить» (ср.: «строил дом, но не построил») и т. д.

Однако во многих случаях место видовой пары совершенного вида при основе несовершенного вида с предельной семантикой оказывается уже занято другим глаголом совершенного вида, образованным без участия приставки «по-» (см. примеры выше). Глагол совершенного вида с приставкой «по-» в этом случае можно было бы назвать «ложной видовой парой»; на его долю остается лишь выражение нерезультативного значения ограничительной длительности. Подобное явление, состоящее в том, что семантика языкового знака вытекает не из него самого, а из его отношения к другому языковому знаку, составляет основополагающий закон языка. Как отмечается в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра, языковые значимости «чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы»¹⁸.

Именно дифференциальный характер распределения значений объясняет, почему в одних случаях соединение префикса «по-» с резульативной основой приводит к образованию видовой пары совершенного вида с семой 'результативность' (ср. корректность фразы «строил дом, но не построил»), а в других — нет (ср. некорректность фразы «*Решал задачу, но не порешал»).

Отметим, наконец, что ряд глаголов совершенного вида с приставкой «по-» занимает пограничное положение между способом действия и видовой парой, оказываясь, в зависимости от контекста, либо первым, либо вторым. При наличии темпорального распространителя реализуется лексическое значение ограничительной длительности: «Она *подумала* минуту»; «Минуту он *постеснялся*, потом освоился»; «Они *поговорили* час, потом разошлись»; «Минуту он *покрасил* стену, потом бросил» и т. д. При наличии эксплицирующего объекта, который может быть выражен придаточным предложением, инфинитивом или существительным в косвенном падеже, реализуется либо грамматическая сема 'одноактность': «Он *подумал*, что что-то случилось»; «Он *постеснялся* отказать»; «Они уже *поговорили* об этом», либо грамматическая сема 'результативность': «Он *покрасил* стену». Глаголы пограничного типа, реализующие сему 'одноактность', образуются от глаголов абсолютного несовершенного вида («подумать», «постесняться», «поговорить»), а реализующие сему 'результативность' — от глаголов несовершенного вида с длительной предельной семантикой («покрасить»).

Поскольку значение глаголов пограничного типа меняется в зависимости от контекста, их можно трактовать как омонимы. Однако, учитывая регулярность смещения в их семантике, можно также предложить, следуя правилу Ю. Д. Апресяна, рассматривать их значение как значение с включительно-дизъюнктивной организацией компонентов, характеризующихся определенными правилами зачеркивания в контексте¹⁹.

Подведем итоги. Как показал анализ, приставка «по-», переводя глаголы в совершенный вид, способна сообщать им лексическую сему 'ограничительная длительность', или 'протяженность'. Кроме того, есть группа глаголов, которым эта приставка сообщает, в зависимости от контекста, либо только грамматическую сему ('одноактность' или 'результативность'), либо одновременно грамматическую ('одноактность') и лексическую сему ('протяженность').

Учитывая, что лексическая семантика слова является «основной», а грамматическая — «добавочной»²⁰, попытаемся представить семный состав способов действия: лексическая сема/видовая сема.

Тогда семный состав исследованных групп глаголов совершенного вида с префиксом «по-» можно представить в следующем виде: 'протяженность'/ 'одноактность': а) «побегать», «поездить», «полежать», «полетать», «помаячить», «посидеть», «поспать», «постоять» и т. д.; б) «побудить» (спящего), «попереводить» (текст), «порешать», «поучить», «пошлифовать» и т. д.

Естественно, что для глаголов пограничного типа необходимо указать обе возможности: в первом случае они должны быть признаны способом действия, во втором — видовой парой, т. е.:

1) способ действия: 'протяженность'/ 'одноактность' — «подумать» («Он подумал минуту»), «поговорить», «понюхать», «поспорить», «постесняться» и т. д.;

2) видовая пара: лексическое значение/ 'одноактность' — «подумать» («Он подумал, что дело плохо»), «поговорить», «понюхать», «поспорить», «постесняться» и т. д.

У глаголов пограничного типа с семей 'результативность' необходимо также указать сему 'процессность', которая не актуализирована и выступает как 'пройденная длительность':

1) способ действия: 'протяженность'/ 'одноактность' — «побелить» («Минуту он побелил стену, потом бросил»), «покрасить», «порезать» (хлеб) и т. д.;

2) видовая пара: лексическое значение/ 'процессность, результативность' — «побелить» («Он побелил стену»), «покрасить», «порезать» (хлеб) и т. д.

¹ См.: Всеволодова М. В. Категория именной темпоральности и закономерности ее речевой реализации // АДД. М., 1983.

² Там же.

³ Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976. С. 283.

⁴ Значения древнерусских глаголов приводятся: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. I.; 1895. Т. II.

⁵ См.: Сигалов П. С. История русских ограничительных глаголов // Труды по русской и славянской филологии, XXIII, серия лингвистическая. Вып. 347. Гарту, 1975.

⁶ Там же. С. 170.

⁷ Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 47.

⁸ См.: Сепир Э. Язык. М.—Л., 1934. С. 122—134.

⁹ Сигалов П. С. Указ. соч. С. 169.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 151.

¹² Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. М., 1978. С. 22.

¹³ Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 3. М., 1976. С. 80.

¹⁴ Силина В. Б. История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 194.

¹⁵ Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 220.

¹⁶ См. там же. С. 214.

¹⁷ См. там же. С. 224.

¹⁸ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 149.

¹⁹ См.: Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 85—87.

²⁰ См.: Пешковский А. М. Избранные труды. М., 1959. С. 87.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ПРЕДЕЛЬНОСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ «ПЕРВИЧНЫЙ ИМПЕРФЕКТИВ — ВТОРИЧНЫЙ ИМПЕРФЕКТИВ»

В. Н. Обухова

В соответствии с установившейся в аспектологии традицией первичными имперфективами мы называем бесприставочные, а вторичными — приставочные (соотносительные первичным) глаголы несовершенного вида типа «читать — прочитывать», «жечь — сжигать», «беречь — уберегать» и т. д.

Признак предельности находит разное выражение в семантической структуре первичных и вторичных имперфективов.

По определению Ю. С. Маслова, «предельность есть входящее в семантику глагола указание на внутренний, самой природой данного действия предусмотренный предел», «непредельность — это отсутствие внутреннего предела, который бы ограничивал течение действия хотя бы в перспективе»¹. Отсутствие четкой дифференциации предельных и непредельных глаголов подтверждается высказыванием того же автора: «Во многих случаях глагол, непредельный в абсолютном употреблении, становится предельным в сочетании с дополнением (определенного типа) или с обстоятельством цели (границы) движения»². При сопоставлении этих положений возникает вопрос: что же является главным при определении предельности / непредельности глагола: 1) наличие внутреннего, самой природой данного действия предусмотренного предела / отсутствие такового или же 2) наличие / отсутствие лексических показателей, которые могут ограничить действие, так сказать, извне?

Признание доминирующей роли первого признака приводит к отрицанию второго, что противоречит указанным многими исследователями фактам. Признание главенствующей роли второго признака делает несущественным первый. Видимо, поэтому большинство исследователей совмещают первое и второе определения предельности, делая вывод о том, что предельность, выражаемая семантикой глагола, и предельность, сигнализируемая лексическими показателями, имеет одну и ту же природу.

Таким образом, первая проблема, отношение к которой нам необходимо определить, исходя из особенностей первичных и вторичных имперфективов, сводится к выбору между двумя точками зрения: 1) предельность имеет одну и ту же семантическую природу, независимо от того, выражается она семантикой глагола или внешними лексическими средствами; 2) в зависимости от формальных средств выражения значение предельности может меняться не только в количественном, но и в качественном отношении (поменяв причину и следствие местами, получим другой тезис: природа глагольной предельности неоднородна, что определяет выбор различных формальных средств для ее выражения).

Вторая проблема находится на пересечении категорий вида и предельности и формулируется следующим образом: либо «непредельность на славянской почве есть невозможность для данного глагольного понятия функционировать в совершенном виде»³ и, следовательно, в сферу предельности включаются глаголы и совершенного, и несовершенного вида, либо следует согласиться с точкой зрения А. М. Ломова, который считает, что «непредельными могут быть не только имперфективные, но и перфективные глаголы»⁴ типа *простоять, лежать*.

А. М. Ломов исходит из того, что всякое перфективное действие является так или иначе ограниченным, но не обязательно предельным, поскольку внутренний предел представляет собой лишь один (далеко не единственный) вариант ограничения действий. Таким образом, вторая точка зрения разделяет понятия предела и границы действия. Те случаи, когда речь идет о перфективных глаголах типа *простоять, лежать*, относятся А. М. Ломовым к проявлениям понятия границы. «Понятно, что здесь речь может идти лишь о границе, само существование которой обусловлено коммуникативными потребностями и не больше»⁵.

Развивая эту мысль, можно предположить, что те случаи, когда глагол, непредельный в абсолютном употреблении, становится предельным в сочетании с дополнением или обстоятельством, также относятся к сфере реализации понятия границы. Таким образом, две вышеназванные проблемы находят вполне удовлетворительное объяснение в гипотезе А. М. Ломова. Однако, принимая эту гипотезу, мы должны проверить ее соответствие семантике исследуемых нами первичных и вторичных имперфективов. Другими словами, наша задача состоит в том, чтобы определить, как реализуются оппозиции предельность / непредельность и ограниченность / неограниченность действия в первичных и вторичных имперфективах.

При исследовании вопроса о выражении признаков предельности / непредельности первичными и вторичными имперфективами вряд ли правомерно жесткое разделение глаголов на разряды предельный или непредельный. Поскольку значение предельности является не статичным, а развивающимся, что в какой-то мере отражается в определениях этого признака, данных разными исследователями, и поскольку природа глагольной предельности неоднородна, постольку подходом, соответствующим реальному положению вещей, является подход, учитывающий, с одной стороны, меру количественного выражения признака предельности в различных глаголах (иными словами, констатация того, что один глагол более предельен, чем другой), с другой стороны, качественные различия признака предельности в глаголах совершенного и несовершенного вида (иначе говоря, предельность, проявляющаяся в имперфективе, и предельность, реализуемая перфективом, неоднородны).

Большинство глаголов совершенного вида (за исключением глаголов *простоять, лежать* и т. п.) выражает реальный предел

действия. Очевидно, что признак предельности достигает в них максимального выражения. Между тем перфектив, образованный от первичного имперфектива, развивает и видоизменяет семантическую информацию, заложенную в первичном имперфективе. «Бесспорно, что в форме совершенного вида предельный компонент на первом плане, тогда как в форме несовершенного вида он как бы отходит на второй план, затушевывается. Форма совершенного вида не вносит в глагольное значение, а актуализирует заключенную в лексическом значении глагола предельность»⁶.

Если перфектив выражает реальный предел действия, то родственный ему первичный имперфектив выражает действие, стремящееся к этому пределу. В данном случае ход рассуждений противоположен направлению словообразовательной активности, традиционно рассматриваемой как цепочка «первичный имперфектив — перфектив — вторичный имперфектив». Этот традиционный подход не учитывает, однако, возможности депрефиксации, при которой направление словообразовательной активности таково: «перфектив — первичный имперфектив». Учет потенциальной двунаправленности словообразовательного процесса делает возможным определение первичного имперфектива как глагола, выражающего действие, стремящееся к пределу, исходя из того, что соотносительный перфектив выражает реальный предел действия.

Таким образом, семантическая характеристика первичного имперфектива по отношению к признаку предельности амбивалентна: каждый отдельно взятый глагол не содержит указания на предел действия, рассматриваемый же как член оппозиции «первичный имперфектив — перфектив», он выражает действие, стремящееся к пределу, который реализуется соотносительным перфективом. Исходя из сказанного, мы предлагаем характеризовать имперфективы, имеющие соотносительные перфективы, как относительно предельные (в самом глаголе признак предельности не выражен, но в сознании говорящего предел действия существует, поскольку есть перфектив, выражающий его). Среди первичных имперфективов относительно предельные составляют подавляющее большинство.

Те первичные имперфективы, которые не имеют соотносительных перфективов и соответственно реального предела (либо образованные от них перфективы не выражают реальный предел действия), предлагается называть абсолютно непредельными. Таковы глаголы «молчать», «плакать» и некоторые другие. См. точку зрения А. В. Бондарко: «Глаголы, характеризующиеся признаком «наличие предела» — как реального, так и потенциального, — являются предельными. Глаголы же с признаком «отсутствие предела» (не только реального, но и потенциального, возможного в перспективе) являются непредельными»⁷.

Образование новых перфективов и исчезновение ранее существовавших являются предпосылками изменения статуса первичных имперфективов — абсолютно непредельные могут в будущем стать

относительно предельными, и наоборот. Формально-семантический подход, таким образом, не является жестко детерминированным, а учитывает факты развития языка.

Возвращаясь к ранее цитировавшейся мысли Ю. С. Маслова о том, что «во многих случаях глагол, неопределенный в абсолютном употреблении, становится предельным в сочетании с дополнением (определенного типа) или с обстоятельством цели (границы) движения»⁸, следует отметить, что нами не рассматривается «абсолютное употребление» глагола, так как любое употребление глагола конкретно, индивидуально, специфично, но — в этом выражается диалектика глагольной семантики — несет в себе информацию об общем, абсолютном значении глагола, о степени проявления в нем тех или иных признаков.

Поэтому, на наш взгляд, не дополнения и обстоятельства того или иного типа определяют предельность или неопределенность глагола, а семантический потенциал глагола, совокупность его признаков, которые, в сущности, являются структурным выражением специфики взаимоотношений глагола с другими членами глагольной системы, определяют возможность выбора и употребления тех или иных лексических показателей. Возможность их употребления — внешнее проявление изменений во внутреннем наполнении глагола, в его семантике, ставших реальностью в данном контексте.

Принятая нами схема направления действий, выражаемых соотносительными первичными и вторичными имперфективами, такова:



(несоотносительные по значению глаголы остаются за пределами этой схемы). Вторичные имперфективы, как ясно из схемы, выражают действие, стремящееся к пределу, который реализуется соотносительным перфективом. Однако сходство между отношениями первичных имперфективов и перфективов, с одной стороны, и отношениями вторичных имперфективов и перфективов, с другой стороны, является чисто внешним, определяемым тем, что и в том и в другом случае материальным выразителем реального предела выступает перфектив. Внутренняя же сущность различий между первичными и вторичными имперфективами по степени и качеству проявления в них признака предельности / неопределенности определяется спецификой позиции говорящего и, следовательно, различной оценкой действия с его стороны.

При употреблении первичных имперфективов направление развития действия и направление взгляда говорящего совпадают.

Поскольку предел действия существует, но выражен соотносительным перфективом, а не содержится в семантической структуре первичного имперфектива, постольку первичный имперфектив оценивается как относительно предельный. Наоборот, при употреблении вторичных имперфективов говорящий занимает по отношению к направлению действия ретроспективную позицию. Она изменяет его отношение к пределу действия — этот предел становится близким, конкретным, по-настоящему реальным.

Ю. С. Маслов считает эту тенденцию общей для славянских языков⁹. Об этом говорят и другие исследователи¹⁰.

Содержа в своей семантике указание на наличие предела, более того, на реальную возможность достижения этого предела, вторичные глаголы остаются все же глаголами несовершенного вида. Они подчеркивают, что действие, обозначаемое ими, стремится к пределу, что этот предел существует, но действие не завершается с его достижением. Действие, выражаемое вторичным имперфективом, достигает (или почти достигает) своего предела, а потом: как бы возвращается к своему началу. Этот факт, т. е. неоднократность достижения предела или приближения к нему, предопределил характеристику вторичных имперфективов как специфических итеративов, данную Ж. Веренком¹¹.

Следует отметить, однако, что неоднократность достижения предела или приближения к нему потенциальна и не во всяком окружении становится фактической.

Если действие, обозначенное первичным имперфективом, можно сравнить с прямой передачей изображения телевидением, то рассмотрение действия, обозначенного вторичным имперфективом, ассоциируется с повторением события в видеозаписи после того, как зритель знает результат действия; более того, именно знание им результата действия определяет необходимость повторного, более детального рассмотрения: забит гол, поэтому важны подробности.

Подводя итоги, можно выделить три типа отношений между исследуемыми глаголами по признаку предельности / непредельности. Первый тип отношений связывает первичные имперфективы и соотносительные с ними перфективы. Различия между этими глаголами качественные, контрастные. Первичные глаголы относительно предельны, перфективы максимально предельны. Будучи резко противопоставлены, эти глаголы, как полюса магнита, составляют диалектическое единство: «Я с тобой рассчитался полностью — за дружбу платил тебе дружбой, за рукопись уплатил золотом, а за злые письма — молчанием» (Л. Островер).

Вторичные имперфективы противопоставлены соотносительным перфективам не так резко, как первичные. Тем не менее различия между ними достаточно велики. Признак предельности, пропущенный через призму процесса имперфективации, приобретает новые черты, определяемые семантикой несовершенного вида, в отличие от

предельности, перфективов. Поэтому отношения и в этой группе можно охарактеризовать как оппозиционные.

Третий тип отношений связывает первичные имперфективы и соотносительные с ними вторичные. Тяготая к перфективу по признаку предельности, вторичный имперфектив по видовой семантике близок к первичному и составляет вместе с ним комплексный имперфективный член видовой пары. В пределах этого комплексного члена вторичный имперфектив является маркированным по признаку предельности и противопоставляется первичному имперфективу: «Учу одному, а научу другому» (С. Соловейчик).

Признак предельности, представленный перфективами, с одной стороны, и вторичными имперфективами, с другой стороны, является, таким образом, общей платформой связи в системе «первичный имперфектив — перфектив — вторичный имперфектив».

¹ Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 11.

² Маслов Ю. С. К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978. Вып. I. С. 13.

³ Маслов Ю. С. Заметки о видовой дефективности (преимущественно в русском и болгарском языках) // Славянская филология. Л., 1964. С. 82.

⁴ Ломов А. М. Предельность / неопределенность, акциональные модификаторы и категория вида // Вопросы семантики. Калининград, 1984. С. 112—116.

⁵ Там же.

⁶ Гуревич В. В. О взаимодействии видového и лексического значения глагола // Русский язык в национальной школе. 1982. № 4. С. 12—16.

⁷ Бондарко А. В. Лимитативность и глагольный вид в русском языке // Функциональные аспекты грамматики русского языка. Уч. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1985. Вып. 719. С. 23—43.

⁸ Маслов Ю. С. К основаниям сопоставительной аспектологии. С. 13.

⁹ См.: Маслов Ю. С. Заметки о видовой дефективности (преимущественно в русском и болгарском языках). С. 86.

¹⁰ См.: Снопкова С. И. Вариативные обозначения несовершенного вида в их соотношении с классами глагола и семантикой глагольного слова // АКД. М., 1974; Цыганова В. Н. Из наблюдений над лексической синонимикой глаголов в современном русском литературном языке // АКД. Л., 1953.

¹¹ См.: Veurenc J. Un problème de formes concurrentes dans l'économie de l'aspect verbal en russe: imperfectifs premiers et imperfectifs seconds // Slavica. Debrecen. 1965. N. 5. P. 133—153.

Донецк

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ТЕКСТА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ»

(на материале немецкого языка)

Е. Е. Анисимова

Интенсивная разработка типологии текстов обусловила вовлечение в орбиту современных лингвистических исследований разнообразных текстов, в том числе так называемых «креолизованных»

ных» текстов, использующих для реализации своего коммуникативного назначения коды разных знаковых систем. К данным текстам относится политический плакат, до недавнего времени изучаемый главным образом в искусствоведческом аспекте как жанр прикладной графики¹, в историческом аспекте как документ определенного временного среза жизни общества² и лишь в последние годы начинающий привлекать внимание языковедов как лингвистический знак³. Целью настоящей статьи является описание коммуникативно-прагматической характеристики политического плаката как типа текста.

Предыстория политического плаката в Германии насчитывает несколько столетий. Слово Plakat получило распространение в немецком языке в XVI в. Первоначально в XVI—XVIII вв. под плакатом понималось любое объявление, вывешиваемое для всеобщего сведения: от объявлений о зрелищах до эдиктов, законов правительства. В XIX в. бурное развитие капитализма в Германии, активизация общественно-политической жизни, совершенствование техники производства плаката в связи с изобретением литографии привело к превращению плаката наряду с газетой в важнейшее средство массовой коммуникации. Рождение немецкого политического плаката относится к периоду революции 1848—1849 гг., когда плакат выступил в новом качестве как средство политической борьбы. Первые политические плакаты мало чем напоминали современные плакаты, они, как правило, представляли собой многословные афиши, где изображение отсутствовало или играло второстепенную роль. Лишь в конце XIX — начале XX в. язык политического плаката становится более экономным, выразительным, большее значение в нем приобретает изображение. Период расцвета немецкий политический плакат переживает в дни Ноябрьской революции 1918 г., а также в последующие годы Веймарской республики (1919—1933).

В современном обществе в условиях бурного развития средств массовой информации политический плакат, утратив в значительной мере свою роль как средства быстрого информирования об актуальных политических событиях, продолжает оставаться важнейшим средством агитации и пропаганды. «Живучесть» политического плаката кроется в его богатых коммуникативно-прагматических потенциях, в своеобразии его воздействия на адресата.

Коммуникативно-прагматическая характеристика политического плаката как типа текста определяется целым комплексом конструктивных элементов, к которым относятся: сфера коммуникации; типовая ситуация общения; коммуникативная целеустановка текста; коммуникативная стратегия адресанта и средства, используемые им для ее реализации; коммуникативно-прагматические качества плаката, а также функции, выполняемые им в речевой коммуникации.

Сферой использования политического плаката является массовая коммуникация (Straßenkommunikation). Политический плакат на улицах и площадях, в подземных переходах и транспорте стал неременной приметой «облика» современного города.

Основными компонентами типовой ситуации общения являются:

1. Адресант — политическая организация (партия, общественная организация, инициативная группа), инструментом волеизъявления которой выступает политический плакат и по поручению которой он изготавливается. Непосредственным создателем плаката является художник-плакатист, обычно он же автор слов.

2. Адресат — массовая аудитория, потенциально все прохожие / проезжающие, которые находятся вблизи от плаката.

3. Предмет общения — политическое событие, явление, определяющее содержание плаката, его идею.

4. Тип контакта — контакт между адресантом/адресатом является опосредованным, кратковременным; на восприятие плаката отведены мгновения, обычно оно осуществляется «на ходу» (по мнению специалистов, визуальный контакт с плакатом не должен превышать 5—6 секунд⁴).

Коммуникативная целеустановка политического плаката состоит в том, чтобы убедить адресата в необходимости совершения определенного социально значимого действия и мобилизовать, склонить его к совершению этого действия.

Данная целеустановка реализуется выбором адресантом соответствующей коммуникативной стратегии, которая заключается в том, чтобы: а) привлечь внимание адресата, заинтересовать его; б) сообщить адресату актуальную политическую информацию; в) воздействовать на адресата с целью изменить или укрепить его социально-политические установки; г) побудить адресата к совершению определенного действия (вербального или невербального).

При этом побуждение может быть рассчитано как на непосредственную поведенческую реакцию адресата (напр., участие в выборах, демонстрации), так и опосредованную поведенческую реакцию — изменение социально-политических установок и в последующем поведении адресата в направлении, желательном для адресанта.

Для оптимальной реализации своей коммуникативной стратегии автор плаката прибегает к средствам разных знаковых систем (вербальному) и невербальному коду (изображение, цвет, шрифт), что определяет синтетический характер плакатного текста. В отличие от других типов текста, где невербальным средствам обычно отводится вспомогательная роль, в политическом плакате данные средства, прежде всего изображение (рисунок, фотография, карикатура, эмблема), играют, наряду с вербальными средствами, основную роль в организации текста. Их органичное соединение с вербальными средствами в одно визуальное, структурное, смыс-

ловое, функциональное целое обеспечивает коммуникативную целостность текста, его комплексное воздействие на адресата.

Использование невербальных средств, условность изобразительного языка плаката, а также зажатость плакатной коммуникации в жесткие временные рамки обуславливает сокращение эксплицитно выраженной вербальной информации за счет имплицитно представленной в плакатном тексте. Этим объясняется особая важность в плакате подтекста, учета особенностей восприятия плакатного текста адресатом. Так, эффективность прагматического воздействия плакатного текста определяют такие факторы, как учет адресантом фоновых знаний адресата (общих знаний о мире, социальных знаний как члена данной социально-исторической общности людей, индивидуальных знаний), его психологических особенностей (уровень ассоциативного мышления, память, воображение, фантазия и т. д.), развитости эстетического чувства и др.

Для того чтобы политический плакат успешно осуществлял коммуникативную стратегию адресанта, он должен соответствовать определенным требованиям, обладать соответствующими коммуникативно-прагматическими качествами. Наряду с общими коммуникативно-прагматическими качествами, присущими всем агитационно-пропагандистским текстам: злободневность, оценочность, партийность, эмоциональность, конкретность, призывность и др., характерными для политического плаката являются такие качества, как броскость, лаконичность, диалогичность, оригинальность. В реализации данных коммуникативно-прагматических качеств принимают участие как вербальные, так и невербальные средства.

Так, броскость плакатного текста достигается прежде всего невербальными средствами: изображение, цвет, шрифт уже при сносительной удаленности приковывают внимание потенциального читателя к плакату, «навязывают» ему коммуникативный контакт с текстом. Из вербальных средств броскости способствуют слоганы — меткие, образные выражения, обычно благозвучные и легко запоминающиеся адресатом. Например: “Frieden schaffen ohne Waffen”.

Лаконичность плакатного текста обеспечивается максимальной концентрированностью его содержания, предельной экономией средств выражения. Каждая деталь плаката должна «бить точно в цель», передавать его смысл ясно и доходчиво. Значительная часть информации передается в плакате с помощью изображения. Часто целостный, емкий изобразительный образ позволяет адресату охватить одним взглядом основную идею плаката, передает сложное политическое содержание, вербализация которого потребовала бы длинного многословного изложения. В языковом плане лаконизм осуществляется за счет сокращения вербального компонента. По мнению специалистов, для эффективного воздействия на адресата вербальная часть политического плаката не должна превышать 8 слов⁵, нередко она состоит из 2—3 и даже одного

слова. Для этой цели в плакате широко применяется редукция языковых форм: опущение артикля, отдельных членов предложения, частей простого и сложного предложения. Этим объясняется доминирование эллиптических предложений в плакатном тексте. Например: "Mit denen, die nach vorne schauen". "Rainer Eppelmann einer von uns deshalb DA Demokratischer Aufbruch wählen".

Диалогичность плакатного текста определяется характером «уличной коммуникации», обусловлена стремлением адресанта вовлечь в общение проходящего/ проезжающего мимо адресата: прервать привычный ход его мыслей и направить его в нужное русло, дать толчок к совершению им желаемого действия. В качестве наиболее демократичной и подходящей для данных условий используется разговорная форма общения. Адресант, тщательно отработывающий выразительные возможности плакатного текста заранее, сознательно прибегает к имитации спонтанности, непринужденности, некоторой фамильярности общения. Плакатный текст начинает при этом восприниматься как фрагмент свернутого макродиалога, в котором он выступает в качестве реплики-стимула, ответной же «репликой» должна стать соответствующая поведенческая реакция адресата.

Реализации диалогичности в немалой степени способствуют изобразительные средства. Так, излюбленным приемом, используемым в политическом плакате, является создание образов-изображений лиц (реальных или нереальных), с которыми предлагается идентифицировать адресанта/адресата текста. Подобные изображения выполняют роль визуальных опор, восполняющих отсутствие «живого» контакта между коммуникантами. Обычно этой цели служат фотопортреты известных политических деятелей, обращающихся к своим избирателям (использование приема «оптической цитаты»), а также изображение лиц (например, улыбающейся девушки, respectable мужичины, солидных пожилых людей, рабочего и др.), отражающих стереотипные и не лишённые идеализации представления политической организации о себе и своем адресате.

В языковом плане диалогичность достигается широким использованием личных и притяжательных местоимений 1-го, 2-го лица ед. и мн. числа, 3-го лица мн. числа (в форме вежливости), предпочтением простых и эллиптических предложений, парцелляцией, инверсией порядка слов и др., придающих языку плаката оттенок «естественности», «неотработанности» и одновременно усиливающих его выразительность. Приведем примеры: "Bündnis 90. Bürger für Bürger. Nicht rechts. Nicht links. Geradeaus. Entscheiden Sie sich am 18. März für ihre Rechte als Bürger!"⁶ "Wir haben Berlin verändert. Wir lassen nicht locker. Bündnis 90", "Uns haut nichts mehr um. Wenn Sie wollen, gehen wir für Sie sogar in die Rathäuser. DA. Demokratischer Aufbruch"⁷. "Auf die Mitte kommt es an! Am 6. Mai alle 3 Stimmen: CDU'90"⁸.

Как и разговорной речи, в целом языку политического плаката присущ активный характер: здесь используются глагольные формы в активном залоге и неупотребителен пассив. Обращенность политического плаката во временную плоскость настоящего и будущего обуславливает в нем использование в качестве доминантной временной формы презенса. Этой же цели служат эллиптические конструкции, приобретающие в контексте плаката временную характеристику и выражающие презентные и футуральные временные отношения. Редко используется в плакате менее экономная временная форма футурум I, а также формы прошедшего времени (перфект, претеритум), не встречается плюсквамперфект как чуждый временной характеристике данного текста.

В отличие от других агитационно-пропагандистских текстов (например, воззвания, листовки), в которых призывность выражается эксплицитно, для политического плаката характерны как эксплицитные, так и имплицитные способы реализации данного качества, что обусловлено его коммуникативной спецификой. Сама ситуация плакатной коммуникации и закрепленные за ней ожидания коммуникантов определяют способность любого языкового средства приобретать в плакате побудительную иллокутивную силу. Так, перечисление качеств политической партии, ее программных целей и ее идеалов в предвыборном плакате уже содержит имплицитный призыв отдать ей предпочтение на выборах. Например: "PDS die Neue. Fachlich profiliert, demokratisch organisiert, sozial und ökologisch orientiert"⁹.

Для лексического состава плаката характерна нейтральная литературная лексика, здесь допускаются лишь отдельные вкрапления разговорной лексики. Несвойственно плакату как средству общения политической организации с массовым адресатом употребление диалектизмов, грубой разговорной лексики, вульгаризмов.

Оригинальность плакатного текста обусловлена необходимостью передавать содержание, выражать политическую идею, часто хорошо знакомую адресату, в новой, яркой, необычной форме и тем самым усиливать ее действенность. Оригинальность плакатного текста определяется плакатным образом, избираемым художником-плакатистом для воплощения политической идеи. Плакатный текст обращен к миру ассоциаций адресата. Взаимодействие вербальных и невербальных средств в плакате, установление между ними различных логических и эмоциональных связей позволяют автору создавать новые, часто неожиданные образы, увеличивать количество ассоциаций, вызываемых у адресата. «Прочтение» плакатного текста часто предполагает соразмышление со стороны адресата, выявление глубинных смыслов, скрытых в его содержании. Несмотря на широкие возможности интерпретации плакатного текста, она вместе с тем всегда основывается на привычных, социально устойчивых ассоциациях и ограничена замыслом автора.

В языковом плане оригинальность достигается широким использованием тропов, фразеологизмов, пословиц, цитат, афоризмов и других средств. Языковые приемы создания образности в плакате обогащаются за счет употребления невербальных средств. Так, в обыгрывании одного или нескольких значений слова, создании двойного смысла, игры слов в плакатном тексте нередко одновременно задействованы знаки вербального и невербального кода. Например, в плакате, протестующем против «запрета на профессию» в Западной Германии: “Wir sitzen alle im gleichen Berufsver-boot — boot”. Благодаря изменению орфографии слова Berufsver-boot в плакате возникает игра близких по звучанию слов Verbot/Boot, которая усиливается изобразительным компонентом — изображением бумажного кораблика в море. Создаваемая в результате взаимодействия вербальных и невербальных средств ассоциативная связь имплицитно «говорит» о незащищенности человека, лишенного права на труд, а также о том, что в подобном положении может оказаться каждый.

Прагматическое воздействие плакатного текста на адресата в немалой степени зависит от уровня его художественного исполнения, технических характеристик (материал изготовления, размер и др.), его новизны для адресата, от обстановки восприятия (расположение в пространстве, соотношение с другими текстами «уличной коммуникации» и т. д.).

В речевой коммуникации, в организации взаимодействия коммуникантов в сфере политических отношений политический плакат выполняет различные функции. К первичным, наиболее существенным функциям политического плаката относятся: 1) идеологическая — политический плакат отражает мировоззрение, цели, задачи определенных классов, слоев общества; 2) информативная — плакат сообщает определенную актуальную политическую информацию; 3) экспрессивная — плакат выражает социальные чувства, эмоции определенных классов, слоев общества, их отношение к тем или иным явлениям политической жизни; 4) апеллятивная — плакат побуждает адресата к совершению определенного социального значимого действия.

В качестве доминирующей из перечисленных функций выступает апеллятивная функция, детерминирующая функциональную специфику политического плаката в целом.

Вторичными функциями являются менее существенные функции политического плаката. Сюда относятся функции, производные от первичных функций: 1) репрезентативная — назначение плаката состоит в том, чтобы представлять определенную организацию, ее интересы в политической жизни общества; 2) интегративная — назначение плаката состоит в том, чтобы объединять людей одинаковых или близких политических взглядов, являющихся членами одной организации или поддерживающих ее по тому или иному вопросу; 3) маркировочная — назначение плаката (прежде

всего в предвыборных кампаниях буржуазных партий) состоит в том, чтобы выступать в роли марки¹⁰, опознавательного знака соответствующей политической организации, сигнализирующей о ее существовании и политическом влиянии.

К вторичной функции в силу прикладной прагматической направленности политического плаката относится эстетическая функция: передавать определенную эстетическую информацию (о художественных качествах плаката).

Названные функции дополняют друг друга в речевой коммуникации и контаминируют в тексте.

Рассмотренные элементы определяют экстралингвистическую и интралингвистическую специфику политического плаката, конституируют его как особый тип текста.

Исследование креолизованных текстов, образующих зону взаимодействия разных знаковых систем, пересечения интересов разных научных дисциплин (семиотики, лингвистики текста, типологии текстов, теории коммуникации, психолингвистики); искусства и др., находится в начальной стадии своей разработки и представляется чрезвычайно перспективным. В аспекте лингвистики текста и типологии текстов изучение данных текстов расширяет традиционные лингвистические представления о природе текста, его свойствах и типобразующих признаках, а также дает большой теоретический и эмпирический материал для совершенствования типологии текстов. Комплексное исследование креолизованных текстов позволит выявить и изучить скрытые резервы и механизмы воздействия на адресата, что будет способствовать повышению эффективности речевой коммуникации.

¹ См.: Gebrauchsgrafik in der DDR. Dresden, 1975.

² См.: Wasmund K. Politische Plakate aus dem Nachkriegsdeutschland. Zwischen Kapitulation und Staatsgründung 1945—1949. Frankfurt am Main, 1986.

³ См.: Müller G. Das Wahlplakat. Pragmatische Untersuchung zur Sprache in der Politik. Tübingen, 1978; Faulseit D. Politische Plakate und ihre sprachliche Gestaltung // Sprachpflege, 1981. Н. 4.

⁴ См.: Prakke H. J. Bild und Plakat. Assen, 1963.

⁵ См.: Prakke H. J. Указ. соч.

⁶ Bündnis 90 — Союз 90, объединение демократических организаций, созданное для участия в выборах весной 1990 г.

⁷ DA. Demokratischer Aufbruch — Демократический прорыв, политическая партия.

⁸ CDU — ХДС. Христианско-демократический союз, политическая партия.

⁹ PDS — ПДС. Партия демократического социализма.

¹⁰ См.: Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М., 1988.

ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА В РАССКАЗАХ С. МОЭМА

А. А. Бурцев

Наследие С. Моэма неравноценно, и современные исследователи все больше и больше склоняются к мысли о том, что его значение и место как художника в истории английской литературы определяется вкладом в искусство малого жанра. Писатель тоже не раз подчеркивал свое особое отношение к короткому рассказу. В книге «Подводя итоги» он писал: «Мне полюбился этот жанр... Самый объем рассказа — примерно двенадцать тысяч слов — позволял достаточно полно развить тему, но притом требовал сжатости»¹.

Лучшим подтверждением мастерства Моэма-новеллиста служат отклики его собратьев по перу. Р. Олдингтон обнаружил у Моэма «необыкновенный дар рассказчика», умение построить занимательный сюжет, ясность мысли, точность стиля, отсутствие претенциозности и формальных ухищрений². Э. Уилсон писал о «строгом совершенстве формы» рассказов Моэма, которые стали «классическим образцом английского короткого рассказа». При этом он обратил внимание на то, что Моэм мастерски создавал «иллюзию простоты»: «В его прозе есть простота, но эта простота — результат тщательной отделки... В действительности форма его рассказов необычайно сложна, и их кажущаяся простота есть продукт утонченного мастерства»³.

Исходным пунктом характерологии писателя является представление о необычайной сложности и противоречивости феномена человека. Моэм сомневается в том, что едва ли кто «до конца постиг человеческую природу». «Я изучал ее, сознательно и бессознательно, в течение сорока лет, но и сейчас люди для меня загадка» (ПИ 58), — писал он в книге «Подводя итоги». Аналогичную мысль мы находим в другой работе писателя: «Человек — это единственно неисчерпаемая тема. Можно всю жизнь писать о нем и коснуться лишь поверхности темы»⁴.

Моэм придерживался высокого мнения о собственном «умении пристально всматриваться в людей». Для этого нужен, как он полагал, «непредубежденный ум и большой интерес к людям». Кроме того, необходимой предпосылкой художественного анализа человека для Моэма стало медицинское образование, позволившее ему глубоко «вникнуть в человеческую природу» (ПИ 52, 57, 62). Писатель заявляет: «Я почти без преувеличения могу сказать, что берусь написать сносный рассказ о любом человеке, с которым провел час времени» (ПИ 69).

Подобно Стивенсону Моэм озабочен проблемой двойственности человеческой природы. Сложное переплетение добра и зла изображено в рассказе «Человек, у которого была совесть». У Жана

Шарвена, героя рассказа, было «приятное, открытое выражение лица», его «глаза сияли доброжелательством»⁵. По профессии бухгалтер, он работал в крупной торговой фирме, любил читать и увлекался спортом. Репутация Жана Шарвена была безупречной, но это не помешало ему предать друга и убить собственную жену. В результате он был осужден на шесть лет и стал каторжником.

Не менее сложные и даже парадоксальные фигуры выведены в рассказе «На окраине империи». Мистер Уорбертон, резидент на одном из отдаленных колониальных островов, зарекомендовавший себя как «чистейшей воды сноб», вполне искренне и доброжелательно относится к местному населению и пользуется его уважением и приязнью: «Он стал умелым правителем. Он был строг, справедлив и честен. И понемногу он искренне привязался к малайцам. Его занимали их нравы и обычаи. Он никогда не уставал их слушать. Он восхищался их достоинствами и, с улыбкой пожимая плечами, прощал их грехи» (173). Напротив, его помощник Купер, выходец из простой семьи, ненавидящий снобов и джентльменов, оказывается «заносчивым, самоуверенным и тщеславным» человеком. Более того, он сам демонстрирует снобизм и презрение по отношению к обитателям колоний, и это в конечном счете становится причиной его гибели.

В порицании снобизма Моэм следует классической традиции английской литературы. Вслед за Теккереем он определяет сноба как «человека, который восхищается другими или презирает их только за то, что они занимают в обществе более высокое положение, чем он сам» (179). К «Книге снобов» восходит включенная в рассказ история лакея, который хотел служить обязательно у титулованного человека и в конце концов добился своего. Пристрастие же Уорбертона к изысканным туалетам имеет более давний источник — сатирическую «философию одежды» в произведениях Свифта и Фильдинга.

Образцы усложненных характеров, раздираемых внутренними противоречиями, представлены и в целом ряде других рассказов Моэма. Но подчас интерес художника к парадоксальному сочетанию добрых и злых начал в человеке становился самоцелью и не способствовал выявлению реальной глубины и сложности характера.

Гораздо реже в произведениях Моэма появляются цельные, гармоничные характеры. Писатель объяснял это следующим образом: «Норма — это то, что встречается лишь изредка. Норма — это идеал. Это портрет, который складывают из характерных черточек отдельных людей, а ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке» (ПИ 60).

К числу таких «исключительных явлений» в характерологии Моэма можно отнести героя рассказа «Сальваторе». Уникальность его фигуры констатируется в прямой авторской характеристике: «Я нарисую для вас портрет человека, простого итальянского ры-

бака, у которого за душой не было ничего, кроме редчайшего, самого ценного и прекрасного дара, каким только может обладать человек... Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам: доброта, просто доброта» (344). Автор-повествователь подчеркивает прежде всего его естественность, простоту и непосредственность. Выросший на лоне природы, Сальваторе привык к «вольной жизни птицы», к «тихим тропинкам, горам и морю» (341). Он проходит нравственное испытание любовью и выдерживает его. Критерием оценки героя служит его отношение к труду, к природе и особенно к детям. Но в характере Сальваторе эмоциональное начало явно доминирует над мыслительным процессом, и к тому же его восприятие мира не лишено фаталистической предопределенности, поэтому гармоничность личности героя представляется в конечном счете несколько относительной.

В гораздо большей степени гармония мысли и действия характерна для Аннет, героини рассказа «Непокоренная». Ее бесчеловечный, даже аномальный поступок — убийство собственного ребенка — явился в то же время глубоко осознанным и выстраданным актом. Это был ее вызов тем, кто оказался готов примириться с унижением родины, признать поражение и приспособиться к обстоятельствам. Только такая бескомпромиссность, какую нашла в себе Аннет, могла дать силы и волю для борьбы с ненавистным врагом. Фигура Аннет с ее святой ненавистью к врагам вырастет до масштабов символа, выражающего несгибаемый дух целого народа.

В творчестве Моэма отразились многие значительные проблемы времени. Художника интересовали и философские аспекты бытия, и тема искусства, и современная литературная борьба. В поле его зрения оказались и такие специфически английские явления, как снобизм и викторианское ханжество, и такие явления международного масштаба, как фашизм и конформизм. Д. Олдридж склонен упрекнуть Моэма в отсутствии в его произведениях «социальных идей», «убедительного социального комментария, выраженного в художественных образах», но в то же время усматривает в его творчестве «больше презрения к худшим сторонам викторианского общества, чем у его современников»⁶. Но именно в рассказах Моэма его «компромисс» с викторианским обществом, о котором говорит Д. Олдридж, нередко нарушается и отчетливо проступает критическое начало. Большой остроты достигает, в частности, порицание религиозного фанатизма («Дождь»), снобизма и лицемерия («Падение Эдварда Барнарда»), колониализма («На окраине империи»), «чистого искусства» («Источник вдохновения»). Но эта критика носит скорее не социальный, а морально-этический характер. Олдридж не без оснований усматривает уязвимое место в критической программе Моэма в том, что он «довольствуется изображением отдельного человека»⁷, объясняя общественные пороки несовершенством человеческой природы.

Писатель озабочен в первую очередь воспроизведением «человека как такового», изъятюго из мира общественных связей, и лишь потом его социального статуса. Имея в виду социальную характеристику личности, Моэм писал: «На практике все люди очень похожи друг на друга» (ПИ 153). Однако каждый отдельный человеческий характер представляет собой необычайно сложный синтез противоречивых и даже «несовместимых качеств». В результате в художественном мире писателя представлены главным образом не социальные, а человеческие типы английской действительности конца XIX — начала XX в. Лишь в позднем творчестве Моэма наметилась тенденция к комплексному рассмотрению человека в единстве его «вечных» качеств и социальных функций. Такой подход, в частности, характерен для рассказов «Жиголо и Жиголетта», «Непокоренная».

Внимание Моэма сосредоточено главным образом на раскрытии характеров, а среда, обстоятельства, быт фактически выполняют в его рассказах второстепенную роль. Свое пристрастие к характерам, а не к обстоятельствам косвенно признавал и сам писатель: «Я беру живых людей и выдумываю для них ситуации, трагические или комические, вытекающие из их характеров...» (ПИ 69).

Приоритет характеров над обстоятельствами подчас приводил к тому, что противоречивость и многообразие личности демонстрировались через ее поступки и чувства, а социальные и психологические истоки сложности человеческой природы не исследовались. Именно так обстоит дело в рассказе «Друзья познаются в беде». Рассказчик утверждает, что «почти все мы полны противоречий. Каждый из нас — просто случайная мешанина несовместимых качеств» (334). Эта мысль конкретизируется на примере образа Бартона, который представлялся окружающим «поистине цельной личностью»: маленького роста, щуплый, с седыми волосами, «кротким взглядом голубых глаз» и мягким голосом, он олицетворял, казалось бы, саму «доброту» и «подлинную любовь к ближнему» (335). Но в действительности мистер Бартон оказался крайне черствым и эгоистичным, на его совести была гибель невинного человека. Эта непоследовательность и нелогичность поступков героя не сопровождается соответствующим комментарием. Дается лишь «субъективное» авторское замечание: «Я мало знал его, но он занимал мои мысли, потому что однажды очень меня удивил. Если бы я не услышал эту историю от него самого, я никогда бы не поверил, что он способен на такой поступок» (335).

Среда тем не менее сохраняет в произведениях Моэма свое значение в качестве некой неодолимой силы, играющей роль судьбы, рока, фатума. Не случайно, говоря об «основных началах» своего мировоззрения, Моэм отмечал: «Я поверил, что мы — жалкие марионетки во власти беспощадной судьбы; что, подчиняясь неумолимым законам природы, мы обречены участвовать в непре-

кращающейся борьбе за существование и что впереди — неизбежное поражение и больше ничего» (ПИ 62—63).

Эта особенность восприятия мира выразилась в пристрастии художника к темам распада и гибели. Как и Джойс в «Дублинцах», Моэм в своих рассказах систематически обращается к мотиву бренности человеческого существования. Смертью главного героя завершаются рассказы «Дождь», «Заводь» и «Макинтош». Обречены на смерть персонажи рассказа «Санаторий», убийства совершаются в рассказах «На окраине империи», «Записка», «За час до фэйфоклока». В рассказе «Человек, у которого была совесть» изображена тюрьма, в которой отбывали срок заключенные, осужденные за убийство.

Трактовка категории трагического в рассказах Моэма сближает его с художниками конца XIX — начала XX в. В частности, Г. В. Аникин усматривал «общее» в решении проблемы трагического у Моэма и Конрада не только в «ощущении неблагополучия в мире», но и в осознании «вселенской катастрофичности и извечных начал в самом человеке»⁸.

Категория трагического обусловила разные типы поведения человека в рассказах Моэма и соответственно — различные трактовки человеческой свободы. С одной стороны, писатель подчеркнул обусловленность поступков человека социальными институтами и общественными условностями. С другой стороны, в его произведениях мы находим образцы недетерминированного поведения, проявляющегося в индивидуализме, эскепизме и неоруссоизме.

В рассказе «Мейхью» Моэм в обобщенном виде сформулировал два основных варианта художественного осмысления свободы личности и свое отношение к носителям этих разных типов общественного поведения: «Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые ставит их судьба, они принимают не только с покорностью, но и охотно. Они похожи на трамваи, вполне довольные тем, что бегут по своим рельсам, и презирающие веселый маленький автомобиль, который шныряет туда-сюда среди уличного движения и резво мчит по деревенским дорогам. Я уважаю таких людей: это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы и, кроме того, должен же кто-то платить мне налоги; но они меня не волнуют. Куда интереснее кажутся мне люди — надо сказать, весьма редкие, — которые берут жизнь в руки и как бы лепят ее по своему вкусу» (310).

Рассказ «Падение Эдварда Барнарда» демонстрирует и тот, и другой вариант трактовки свободы личности. Фигура Бэйтмена Хантера при всех его сомнениях и колебаниях представляет собой образец запрограммированных поступков и чувств, целиком обусловленных джентльменским кодексом бытия. Под маской благородства и честности скрывается эгоист и сноб, который боится попасть в «неподходящее» общество, боится показаться смешным среди естественных и открытых жителей островов. Все его существо про-

тестует против этих людей, живущих другой, непонятной ему жизнью, свободной от морали его общества. Бэйтмен не понимает, что человеку нужно нечто большее, чем заложенная в него и им же сформулированная программа: «Исполнять свой долг, упорно трудиться, выполнять все обязательства, которые накладывает на тебя твое положение в обществе» (85—86). Напротив, Эдвард Барнард способен на свободное волеизъявление. Его руссоистский идеал «опрощения» и «естественности» является не чем иным, как попыткой утверждения автономности своей личности.

Такое же стремление отстоять свою индивидуальность характерно и для Нейлсона, «сентиментального человека», порвавшего, подобно Эдварду Барнарду, с цивилизованным обществом. По национальности швед, выпускник Стокгольмского университета, имевший ученую степень доктора философии, но страдавший тяжелой болезнью легких, он приехал на острова, чтобы насладиться, по его словам, «всей красотой мира» за то короткое время, что осталось ему до смерти. И именно в этом первозданном мире Нейлсону суждено было не только поправить свое здоровье, но и испытать прекрасное чувство, постигнув тем самым «реальность жизни».

Мотив фатальной предопределенности судьбы человека трагическими обстоятельствами жизни с особой силой проявился в образе цирковой артистки Стеллы, героини рассказа «Жиголо и Жиголетта». Эта маленькая мужественная женщина, постоянно рискующая жизнью на потеху богатых бездельников, изображена с неподдельной симпатией. Но в то же время ее судьба безысходна. Чтобы подчеркнуть бесперспективность существования героини, автор ввел в рассказ супружескую пару старых цирковых артистов, жизнь которых была похожа на судьбу Стеллы и ее мужа Котмена. Именно эти образы выражают одну из программных мыслей Мозма о бесцельности, безнадежности человеческого существования. Женщину, которая была когда-то «первой звездой» цирка и считалась «настоящей достопримечательностью, все равно как лондонский Тауэр», никто уже не помнил. Зато всем были известны миссис Баррет, скусающая светская дама, обладательница огромного состояния, «русский князь, питающий серьезные намерения сделать миссис Баррет княгиней, а куда спекулирующий шампанским, автомобилями и полотнами старых мастеров», «графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней» и другие «прожигатели жизни». Они не задумывались над тем, что за смертельным цирковым трюком стоит человеческая жизнь и хотели лишь одного — сильных ощущений.

Основной пафос рассказа заключается в изображении тщетности усилий человека в борьбе за свое существование. Всей логикой развития действия автор констатирует безысходность положения героини. Не случайно через весь рассказ проходит мотив смерти. Стелла вынуждена продолжать свой смертельный мара-

фон; сильный, мужественный человек оказывается безнадежно слабым перед лицом трагических обстоятельств. Но ощущение непрочности человеческого существования, признание роли фатума не приводили Моэма к характерному для декадентского искусства тотальному пессимизму, к разочарованию в человеческой природе вообще.

Подход Моэма к категории характера, воспроизведение реальной сложности и многогранности человеческой личности свидетельствуют о его тяготении к реалистическому искусству. Об этом не раз говорил сам писатель. Теоретические декларации Моэма непосредственно вытекали из его художественной практики. Так, в рассказе «Человек, у которого была совесть» мы находим следующее авторское суждение: «Я как-никак реалист и в своих произведениях стараюсь быть верным жизни. Я тщательно избегаю всего причудливого и фантастического — равно как и писательского произвола» (419). А в работе «Подводя итоги» писатель подчеркнул свою приверженность к «жизни в самом неприкрашенном виде» (ПИ 55). Рассказы Моэма подтверждают эти программные заявления.

¹ Моэм С. Подводя итоги. М., 1957. С. 156. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением ПИ.

² Aldington R. W. S. Maugham. Novelist. Essayist. Dramatist. New York, 1939. P. 10.

³ Maugham W. S. Twelve Stories selected and with Introduction by A. Wilson. London, 1966. P. 9.

⁴ Maugham W. S. Selected prefaces and Introductions. New York, 1963. P. 104.

⁵ Моэм С. Рассказы. М., 1979. С. 403—404. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁶ Олдридж Д. Предисловие // Моэм С. Рассказы. М., 1979. С. 4.

⁷ Там же. С. 9.

⁸ Аникин Г. В. Трагическое в романах С. Моэма «Луна и грош» и «Раскрашенная вуаль» // Ученые записки Пермского университета. 1966. № 145.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА НАТАЛИ САРРОТ КАК ЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АВАНГАРДА

(на материале романа «Портрет Неизвестного»)

Л. А. Черницкая

Несмотря на известность и признание, творчество Натали Саррот является загадкой. Основная причина этого в том, что произведения Саррот принадлежат к «новому» роману, т. е. роману нетрадиционному, вследствие этого анализировать их с позиций традиционной поэтики невозможно.

Главное отличие литературы авангарда¹ от литературы традиционной мы видим в объекте исследования. Традиционная литература изучает отдельные социально значимые явления действительности, литература авангарда — представление (понятие, идею, концепцию) о действительности, в частности то, которое в традиционной литературе лежит в основе изучения того или иного социально значимого явления. Такое представление (или сумму представлений) мы рассматриваем как определенный художественный метод в том смысле, что он представляет собой ту гносеологическую основу, из которой исходит писатель при изучении явлений действительности. В эстетике авангарда такая основа формирует категорию языка или сумму понятий о действительности (далее термин «язык» будет употребляться только в этом значении); мы определяем их как «гносеологическую модель». В терминологии Р. Барта она фигурирует как «письмо». В его концепции «“письмо” — это опредметившаяся в языке категориальная, смысловая, аксиологическая сетка, которую культура помещает между человеком и действительностью и которая позволяет субъекту замечать, оценивать и интерпретировать лишь те аспекты этой действительности, которые данная сетка признает в качестве значимых»².

Гносеологическая модель может быть двоякого рода. Так, аксиоматические знания о действительности выступают как общепринятая гносеологическая модель; в то время как знание, не получившее еще социальной санкции, выражающее сугубо субъективный взгляд творца на действительность, выступает как индивидуальная гносеологическая модель. Соответственно этому и язык делится на общепринятый и индивидуальный или новый.

Для представителя авангарда опираться на общепринятую гносеологическую модель при исследовании действительности — это все равно, что заниматься плагиатом, ибо цель творчества для него открытие новой гносеологической модели, т. е. нового языка как принципиально новых знаний о действительности. Общепринятый язык, выступающий как гносеологическая основа в традиционном искусстве, по мысли представителей авангарда, не адекватен действительности и, соответственно, не может выступать сред-

ством ее познания. Вместо того, чтобы открывать неизведанные феномены реальности, он скрывает их, давая искаженное, ложное представление о действительности. Разрушить сетку общепринятых понятий и найти истинное лицо действительности, которое воплотится в новом, адекватном действительности языке, — такова задача художника-авангардиста. По словам Саррот, «нужно все разрушить и смиренно возвратиться к первоисточнику, к ощущению, которое принадлежит только вам»³. Под «ощущением» писательница имеет в виду сугубо субъективное видение художника, которое должно быть основой в его поисках нового языка.

Представители «нового» романа полагают, что общепринятая гносеологическая модель, лежащая в основе традиционного романа, идентична гносеологической модели практического мышления человека, т. е. тем аксиомам, на которых оно основывается при анализе явлений действительности. Эти аксиомы, полагают они, настолько прочно укоренились в сознании человека, что потеряли свой сознательный характер, став феноменами бессознательного — автоматизмами мышления: сам того не сознавая, человек интерпретирует действительность лишь в ракурсе этих аксиоматических понятий, в то время как интерпретировать ее можно тысячами различных способов.

Вот некоторые примеры этих аксиом.

Люди бывают добрые и злые, честные и бесчестные, один выбирает путь компромиссов, другой — бескомпромиссен: этот Чацкий, тот — Молчалин; один лишен высоких моральных устоев, другой всю жизнь за них борется и т. д. и т. п.

Представители «нового» романа совсем не против этих аксиом в практической жизни, однако использование их как художественного метода познания человека, на их взгляд, лишено смысла, так как подобное познание будет лишь дублировать общепринятые аксиоматические представления, ибо использование их в качестве исходной позиции вынуждает писателя не выходить за рамки этих представлений и осуществлять свое исследование только в русле заданных аксиом. Кроме того, подобные представления, с их точки зрения, слишком примитивны, чтобы отразить всю сложность человеческой природы.

В терминологии новороманистов общепринятые представления (общепринятый язык) фигурируют как «известное», «видимость», «видимая действительность», «стереотипы», «клише», а индивидуальные — как «неизвестное», «невидимая действительность». Вот как понимает Саррот отличие общепринятого языка от индивидуального, где первый выступает как «видимая действительность», а второй — как «невидимая».

«Для писателя существуют два рода действительности. Есть действительность видимая — та, в которой он живет, в которой он действует, в которой живут все люди вокруг него, та действительность, которая видна с первого взгляда и которую может увидеть

каждый. Именно эта действительность как раз и не является субстанцией романа. Существует нечто невидимое, совсем не похожее на ту реальность, в которую он погружен.

Может случиться, что отправные моменты его творчества не связаны ни с социальными конфликтами, ни с общественной борьбой, ни вообще с окружающей его видимой действительностью⁴.

В творчестве Саррот в качестве невидимой действительности, т. е. нового языка, выступают тропизмы — бессознательные импульсы, которые, считает писательница, определяют мысли, слова, поступки человека⁵.

Итак, эстетика авангарда четко отграничивает язык как систему понятий о действительности от действительности как таковой. В художественной системе язык реализуется в изобразительных средствах, а действительность — в том, что ими изображается. Соответственно, отграничение языка от действительности выступает здесь как отделение «как» от «что». Эстетика же традиционной литературы подобного разграничения не знает: язык и действительность здесь тождественны; изобразительные средства неотделимы от того, что ими изображается. Если цель литературы авангарда — исследование языка литературы, решение проблем чисто эстетического порядка, то цель традиционной литературы — критический анализ социальной действительности, искоренение недостатков в различных сферах социального бытия. Язык выступает здесь как средство изображения: изображается не что-то посредством языка, а сам язык.

Разрушение в литературе авангарда тождества между языком и действительностью, которое присуще традиционной литературе, мы рассматриваем как основной принцип эстетики авангарда, объясняющий различие не только в их объектах и целях исследования, но и таких важнейших структурных категориях, как референт и оппозиция⁶.

Референтом традиционного произведения является то или иное явление действительности (нравственного, психологического, социального и т. п. порядка); референтом же произведения авангарда — то или иное выразительное средство (или ряд выразительных средств), а шире — определенный художественный метод: в первом случае для автора важно что изображается, во втором — как изображается. Соответственно оппозиция в традиционной литературе формируется между противоположными точками зрения на определенное социально значимое явление действительности; в литературе же авангарда — между различными художественными методами, определенными выразительными средствами. В «новом» романе основная оппозиция формируется между общепринятой и индивидуальной гносеологическими моделями или общепринятым языком и новым. В качестве общепринятого языка, как правило, выступает реалистический метод⁷. В творчестве Саррот он отождествляется с методом типизации. С точки зрения писательницы, типизирование — один из

автоматизмов практического мышления: стараясь понять себя и других, люди, считает Саррот, безотчетно исходят из аксиомы типа, т. е. того, что поведение человека, его внутренний мир обуславливаются определенным типом, присущим данной личности. Саррот же полагает, что поведение человека обуславливается тропизмами, в связи с чем референтами в ее раннем творчестве выступают метод тропизмов и метод типизации, находящиеся в отношениях оппозиции.

Если в своем сборнике критических эссе «Эра подозрений» (1956) Саррот говорит о читателе, который больше не верит в истинность традиционных персонажей⁸, то в главном герое романа «Портрет Неизвестного» — рассказчике — мы видим такого читателя и писателя одновременно, который не может использовать персонажи — типы как традиционное средство познания человека, но в то же время не может найти и адекватные средства для выражения своего индивидуального видения человеческой сущности, а именно тех бессознательных ощущений — тропизмов, которые, по ее мнению, определяют поведение человека. Объектами для наблюдений рассказчику служат некие Отец и Дочь, сущности которых он пытается постигнуть, применяя как традиционные выразительные средства, почерпнутые из поэтик Достоевского, Толстого, Бальзака, Ж. Грина, Ф. Мориака, так и свои индивидуальные средства анализа. Но если традиционные средства используются им в «готовом виде», как некая не подлежащая изменению данность, то индивидуальные средства — это объект его поисков, как таковые они еще не существуют и задача рассказчика состоит в том, чтобы, найдя их, противопоставить средствам традиционным, которые им отрицаются. Вся динамика развития романа определяется этим отрицанием традиционного языка и поисками нового.

Однако поиски нового метода познания человека затрудняются тем, что рассказчик, пытаясь отойти от традиционных выразительных средств, не в силах этого сделать, так как сам оказывается прочно к ним привержен. Он вступает в борьбу с традиционной системой мышления и из перипетий этой борьбы складывается та фабула, которая присуща литературе авангарда: она не имеет ничего общего с событийной фабулой традиционной литературы, так как значение ее — в сфере языка, а не социально значимых явлений действительности. В прозаических произведениях литературы авангарда всегда присутствуют эти два вида фабулы: «языковая» и событийная в силу присущей авангарду оппозиции между общепринятой и индивидуальной гносеологическими моделями. Соответственно событийная фабула является образом общепринятого языка, «языковая» — образом нового языка.

В «Портрете Неизвестного» событийная фабула носит типологический характер, так как она формируется на основании типологических характеристик Отца и Дочери. Согласно этим характеристикам, Отец — скряга, Дочь — маньячка. Оба уже не молоды, но Дочь не замужем, она хочет найти себе мужа и того же хочет ее отец, мате-

риально обеспечивающий ее, но жалующийся, что он слишком стар, чтобы делать это впредь. Отцу кажется, что Дочь его обкрадывает: как-то ночью он вскакивает с постели, чтобы проверить, цело ли мыло, не отрезала ли Дочь от него кусок себе. Однажды между Отцом и Дочерью происходит крупная ссора, предметом которой является отказ Отца дать Дочери большую сумму денег для поездки на курорт. Дочь слезно вымаливает деньги. Отец в бешенстве выставляет ее за дверь. Через закрытую дверь Дочь шепотом просит впустить ее, на что Отец приоткрывает дверь и швыряет ей требуемую сумму денег. Однако все кончается благополучно: Отец и Дочь мирятся; Дочь находит себе выгодную партию — некоего бизнесмена г. Дюмонте.

Объясняя значение типологических образов Отца и Дочери, Саррот указывала на то, что их прототипами явились персонажи Толстого (старого князя Болконского и княжны Марьи) и Бальзака (папаши Гранде и Евгении Гранде). По ее словам, персонажи Толстого были выбраны ею как «совершенные модели романических характеров, живых и хорошо созданных», но выбраны с тем, чтобы доказать, что «стараться подражать этим моделям — это значит идти против революции литературы нашего времени». Что касается персонажей Бальзака, то они привлекли Саррот с точки зрения возможности разоблачить несоответствие между тем, какими персонажи выступают в людских толках и тем, какими они являются в действительности. Писательница задается вопросом, что означают определения «эгоистичный скупец» и «эксцентричная старая дева», какие тропизмы имеют место в человеке, которого другие, когда говорят о нем, называют скупцом⁹. Как видим, задача Саррот полностью соответствует задаче рассказчика.

В своих поисках нового языка рассказчик поступает так, как советует Саррот: он возвращается к первоисточнику, к ощущению, которое принадлежит только ему. Так, против характеристики своих знакомых, согласно которой Дочь скучная и надоедливая особа, он выдвигает следующее возникающее у него при общении с Дочерью ощущение: «...что-то, что исходило от нее, что-то дряблое, липкое, которое приставало и втягивало неизвестно каким образом, и что надо было приподнять и оторвать от кожи, будто влажный компресс с тошнотворным, сладковатым запахом...»¹⁰.

Характеристика знакомых — образ общепринятого языка: она входит в общепринятую гносеологическую модель, так как принадлежит к арсеналу бытовых оценок поведения человека. Желая это подчеркнуть, Саррот, например, такие характеристики Отца и Дочери, как скряги и маньячки, заставляет произносить двух домохозяек, случайно встретившихся на лестничной площадке. Ощущение рассказчика — образ нового языка — языка тропизмов; не являясь характеристикой кого бы то ни было, эти ощущения выступают в значении как бы «анти-языка» как языка, выпадающего из сетки общепринятых понятий о человеке. Автор желает показать им не столько существование именно такого ощущения, сколько вообще

возможность иного, необщепринятого языка, выражающего чисто субъективный подход писателя к познанию человека. Соответственно, референтом такого языка является новая гносеологическая модель — определенные представления автора о человеческой природе, скорее чем определенные психические феномены. В связи с этим показательно высказывание Саррот о том, что центральной драмой в ее произведениях она считает драму «подавления истинного языка, выражающего «тропизмы», несущего на себе печать того, что не может быть определено языком, которым пользуется общество с его понятиями, категориями морали, психологии и т. п.»¹¹

Борьба рассказчика с общепринятыми характеристиками Отца и Дочери выражается рядом средств, основным из которых является опровержение типологических мотивов их поведения мотивами бессознательного, т. е. тропизмами. Так, одним из типологических мотивов поведения Отца, прототипом которого в данном случае выступает папаша Гранде, является скупость. Однако рассказчик, несмотря на единодушие в этом общественном мнении, не верит, что его поступки продиктованы скупостью. Размышляя над сценой, когда Отец вскакивает среди ночи, чтобы проверить, цело ли мыло, он приходит к выводу, что подобное поведение могло быть вызвано совсем не присутствующим Отцу скряжничеством, а стремлением найти предлог, чтобы отвлечься от неосознаваемых им ощущений тоски, беспокойства, опустошенности. Вот, что, по мнению рассказчика, мучит Отца и побуждает его искать способ избавиться от своих мучений (123).

То же относится к типологическим мотивам поведения Отца и Дочери, определяемым толстовскими прототипами. Размышляя над взаимоотношениями старого князя и княжны Марьи и сравнивая их с взаимоотношениями Отца и Дочери, рассказчик решает, что и в том и в другом случае суровость Отца и кротость Дочери могли совсем не отражать того, что оба испытывали к друг другу, но испытывали неосознанно. Так, мысленно представляя себе лицо Отца, которое деревенеет, как только появляется Дочь, рассказчик приходит к выводу, что появление подобного выражения можно объяснить самыми разнообразными мотивами. Так, оно может означать определенную защитную реакцию на излишнюю привязанность Дочери к Отцу, от которой он инстинктивно стремился себя оградить; или же это была маска суровости, которую Отец «надевал», чтобы скрыть чувство чрезмерной привязанности к Дочери. Этот последний мотив рассказчик иллюстрирует на примере толстовских героев (67).

Что касается самоотверженной покорности княжны Марьи, то рассказчик не верит в ее подлинность, но в смысле не сознательного лицемерия героини, а определенного неосознанного состояния, возникающего у нее и вызывающего подобное поведение князя. Это состояние рассказчик выражает метафорой «тысяч крайне тонких нитей, трудно различимых, подобно нитям паутины», которые, наверное, «в каждое мгновение исходили от княжны Марьи и прилипали к

нему, обволакивали его» (69). Не без содрогания рассказчик говорит, что подобные взаимоотношения, которые он называет «повседневной тканью их жизни», продолжались всю жизнь героев вплоть до смерти старого князя. Только на смертном одре князь нашел в себе силы сбросить свою привычную маску суровости (69).

Каков смысл сравнения толстовских персонажей с персонажами Отца и Дочери? Дело в том, что подобным сравнением автор переносит персонажи Толстого в нашу эпоху, помещает их на современный автору уровень развития литературы, т. е. когда литература уже обогатилась открытиями в исследовании бессознательного, благодаря творчеству Пруста, Джойса, В. Вулф, трудам З. Фрейда. Рассказчик своим предположением о существовании бессознательных мотивов поведения, опровергающих типы суровости и кротости, выступает с позиций современного писателя, учитывающего эти открытия, ибо благодаря им подобное опровержение вообще становится возможным. Однако Саррот никоим образом не хочет дискредитировать персонажи Толстого и Бальзака, а лишь показать, что в нашу эпоху когда-то прогрессивный типологический метод исследования человеческой природы уже нельзя рассматривать как метод адекватный этой природе, так как наши представления о ней со времен этих писателей изменились, вследствие чего типологические мотивировки легко опровергаются мотивировками бессознательного. В «Портрете Неизвестного» типы суровости и кротости выступают в качестве общепринятых характеристик Отца и Дочери.

Итак, каков же итог поисков рассказчика? Находит ли он язык, который можно было бы противопоставить общепринятому языку? И да, и нет. Рассказчик находит множество тропизмов, опровергающих характеристики Отца и Дочери в плане общепринятого языка. Однако он в растерянности относительно того, какие тропизмы выбрать как определяющие в той или иной ситуации, поскольку для каждого движения, слова, взгляда героев он находит несколько бессознательных мотивов, каждый из которых в одинаковой мере может вызвать то или иное поведение. Невозможность найти ничего определенного среди обнаруженных им тропизмов вынуждает его рассматривать свою попытку в этом направлении как неудачную и обратиться к средствам общепринятого языка: последняя сцена романа, изображающая встречу героев с женихом Дочери г. Дюмонте, анализируется им исключительно с точки зрения типологических характеристик романа XIX в.

Подобный финал закономерен. Замысел Саррот состоял в том, чтобы показать сложность мира бессознательного, по сравнению с которым типологические определения выглядят слишком упрощенными, унифицированными. В позиции рассказчика по отношению к языку тропизмов этот замысел реализуется. Как объясняла сама Саррот, рассказчик оставляет свои поиски в силу множества и сложности обнаруженных им тропизмов. Таким образом, его отказ от дальнейших поисков — это средство изображения сложности внутреннего

мира: найди рассказчик что-то определенное и этот мир упростился бы, стал однозначным и ясным.

Сетования Саррот по поводу редкого понимания ее произведений в полной мере относятся к этому роману. На наш взгляд, ни в одной из известных нам работ о нем¹² не раскрывается его истинное содержание. Так, Л. Зонина высказала правильную догадку о смысле поисков рассказчика, заметив, что ему хочется сорвать те ярлыки, посредством которых окружающие характеризуют Отца и Дочь: «старый скряга», «психопатка», «преданная дочь, дорожащая привязанностью отца», «зануда»¹³. Однако Зонина не понимает замысла Саррот. Эти ярлыки она рассматривает как выражение стереотипного буржуазного сознания, а не как определенное языковое явление, делая типичную для анализа произведений авангарда ошибку тем, что принимает изображение традиционных выразительных средств за изображение социального явления. Происходит путаница в определении референта, ибо роман Саррот анализируется ею с точки зрения художественной системы традиционного романа, где референтом является социальная действительность, а не язык. Не учтивание этой «языковой» природы произведений авангарда, их двуязычной структуры заставляет исследовательницу обвинить Саррот в неумении изображать тропизмы, по ее мнению, они «стягиваются» в определенные типы¹⁴. Но то, что Зонина принимает за типы, является выражением общепринятого языка, противопоставляемого автором языку тропизмов.

Итак, роман «Портрет Неизвестного» — это типичное явление литературы авангарда, в котором нашел художественное воплощение основной принцип ее эстетики: разрушение тождества между языком и действительностью, присущее традиционной литературе. Рассказчик, не верящий в истинность типологических мотивов поведения Отца и Дочери и опровергающий их мотивами бессознательного, осуществляет функцию по подобному разрушению, показывая несоответствие типологической концепции живому человеку; неадекватность ее как средства познания. В традиционной же литературе типологическая концепция не оспаривается, а используется как эффективное средство познания: в сознании писателя она отождествляется с живым человеком.

¹ Мы основываем наши наблюдения на теоретических трудах Саррот, Роб-Грие; главы структурализма во Франции Р. Барта и в большой степени на анализе произведений представителей авангарда. Наш терминологический и категориальный аппарат не связан с теми трудами, на которых мы основываемся.

² Косиков Г. К. Roland Barthes. Drame, poème, roman // *Ecrits zur l'art et manifestes des écrivains français*. М., 1971. P. 646—648.

³ Interview avec F. Bondy // *C r a n a k i M. et Belavel J. Nathalie Sarraute*. P., 1964. P. 120.

⁴ Иностранная литература. 1963. № 11. С. 239.

⁵ См.: Interview avec F. Bondy. P. 138.

⁶ Референт — это тот феномен вне произведения, с которым оно соотносится. В словаре структурализма референт определяется как внеязыковое явление или

предмет действительности. Оппозиция — это смысловое противопоставление, возникающее между противоположными точками зрения на объект изучения данного произведения (точкой зрения автора и его оппонента).

⁷ Для представителей авангарда понятие «реалистический» отождествляется с понятием «традиционный».

⁸ См.: Sarraute Nathalie. L'ère du soupçon. P., 1956. P. 64.

⁹ Les Lettres Françaises. Septembre. 1960.

¹⁰ Sarraute Nathalie. Portrait d'un Inconnu. P., 1962. P. 16. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹¹ Times literary Supplement. 1959. 13 mars.

¹² См.: Anex Georges. Nathalie Sarraute: Portrait d'un Inconnu. La N. R. F., 1957, juin; Mich a R. Nathalie Sarraute. P., 1966. P. 20—28; Sartre J.-P. Preface // Sarraute Nathalie. Portrait d'un Inconnu; Temple Z. R. Nathalie Sarraute. N. Y., 1968. P. 18—25; Tison Braun Micheline. Nathalie Sarraute ou la Recherche de l'authenticité. P., 1971. P. 85—87; Косиков Г. К. Проблема жанра романа и французский «новый роман». АКД. С. 15—16.

¹³ Зонина Л. Тропы времени. М., 1984. С. 64.

¹⁴ См.: там же. С. 65.

Ленинград

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ**ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ****(по материалам конгрессов МАПРЯЛ
и съездов славистов)***П. Г. Пустовойт*

На VII конгрессе МАПРЯЛ Д. С. Лихачев призывал филологов при изучении литературы уделять внимание проблеме возрождения духовности, нравственности, т. е. первооснове созидательной способности любого народа. Он подчеркнул, что русская литература — совесть русского народа, неисчерпаемый источник нравственности. Русская литература всегда была гарантом духовности, воспитывала высокие нравственные идеалы, а те, кто ее изучал и исследовал, в любой стране, внесли свой вклад в дело консолидации наций, народов.

Судя по материалам конгрессов и съездов славистов, за последнее десятилетие значительно расширился диапазон тематики исследований по русской литературе, повысился их теоретический уровень, появилось много новых имен ученых, опубликованы многочисленные статьи и монографии.

На первый план выдвинулись такие проблемы, как взаимосвязи и взаимодействие литератур, современный литературный процесс, его структура и жанровая специфика. Этим проблемам (как и многим другим) уделили большое внимание международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур (МАИРСК; конференция в Варне — 1975 г., IX съезд славистов в Киеве — 1983 г., VI Международный конгресс МАПРЯЛ в Будапеште — 1986 г.).

Проблема взаимосвязей русской и славянских литератур имеет предысторию. Еще на IV и V съездах славистов чешские ученые Ф. Вольман и Ю. Доланский указали, что аналогичные явления в отдельных славянских литературах — результат сходных исторических условий жизни народов, а общие черты характеров литературных героев — следствие этнической и языковой близости. В трудах «Словесность славян» (1928), «Сравнительный метод в литературоведении» (1959) Франк Вольман разработал методологию сравнительно-исторических исследований, можно сказать, создал школу сравнительно-исторического литературоведения. В его докладе на IV международном съезде славистов «Основные задачи сравнительно-исторического изучения славянских литератур» подчеркивается, что славянские народы «с давних времен чувствовали и сознавали свое родство. Причина этого заключалась и заключается в родстве славянских языков и связей между поселениями восточной, южной и западной ветвей славян»¹.

Исследования Вольмана продолжили его ученики М. Микулашек и И. Крыстынек. Поддержав основные положения доклада Ф. Вольмана, болгарский ученый Э. Георгиев развил мысль о всесторонней близости между славянами — «племенной, языковой, общественно-исторической, культурной, литературной»².

1. Взаимосвязи русской литературы со славянскими и западноевропейскими литературами

В многочисленных исследованиях литературоведов восточноевропейских стран выявляются генетические связи и типологические соотношения между произведениями славянских и западноевропейских писателей, изучаются сходные ситуации и конфлик-

ты, композиционные приемы, средства характеристики, в результате чего делаются выводы о мировоззрении и творческом методе того или иного художника.

Диапазон исследований широк. Авторы изучают многообразные виды связей и взаимодействий литератур, уделяют внимание творчеству отдельных русских писателей, которое сопоставляется с произведениями славянских и западноевропейских писателей.

Так, в статье *Б. Бялоковича* «К вопросу о польско-советских литературных связях» рассматриваются методологические принципы изучения литературы, устанавливаются сходство и различие в методах анализа сравниваемых произведений³.

Польско-советские литературные связи *Б. Бялокович* прослеживает на широком историческом фоне, исходя из диалектики единства национального и интернационального в культуре. Полемизируя с некоторыми учеными и опираясь на большой фактический материал, *Б. Бялокович* приходит к выводу, что польско-советские связи надо рассматривать на основе следующей методологической конструкции: история — культура — личность — нация — содружество народов, а при изучении польско-русских литературных отношений «необходимо выявить целый комплекс внешних и внутренних факторов, определивших творческие связи двух литератур, каждая из которых имеет свои национальные особенности, традиции и формы». Такой комплексный подход дал возможность автору статьи учесть как социально-исторические, так и культурно-эстетические предпосылки, при которых «художественный опыт обеих литератур оказался важным фактором в обоюдном процессе взаимообогащения»⁵.

В монографии «Связи Льва Толстого с Польшей» (1966) *Б. Бялокович* исследует отношение Толстого к Польше и ее культуре. Мысли Толстого о Польше, освещенные христианской моралью, ученый прослеживает и в художественном наследии писателя, и в его дневниках, и в письмах, а также в воспоминаниях о нем современников, среди которых особо выделены «Записки» *Д. Маковицкого*.

О влиянии философско-религиозной доктрины Толстого на развитие польской общественной мысли пишет также *А. Семчук* в статье *Lev Tołstoj w opinii współczesnych pi pisarzy polskich // Przegląd Humanistyczny*. 1978. N 5. S. 15—25.

Бялокович и *Семчук* подтвердили анализу рассказ *Л. Толстого* «За что?» о судьбе польских ссыльных в Сибири. «Сибирскую тему», созвучную тематике польской литературы того времени, выделили в романе «Воскресение» *А. Семчук* и *Х. М. Малговская* (*Paralelizm etyczne Adama Szymańskiego i Lwa Tołstoja // Studia Polono-Slavica-Orientalia*. Wrocław, 1979. M. 5. S. 43—58).

В работах *А. Семчука* приводятся новые материалы о литературных связях *И. С. Тургенева*. Так, например, *А. Семчук* по документальным данным установил, что в 1860-х годах *Тургенев* в Париже был близок к польскому писателю *Эдмунду Хоецкому*, известному под псевдонимом *Шарль Эдмон*, что именно *Хоецкий* ввел *Тургенева* в круг французских писателей (*Флобер, Золя, братья Гонкур*)⁶.

Говоря о роли *Тургенева* в истории польско-русских литературных взаимоотношений второй половины XIX в., *А. Семчук* выделяет два момента: а) произведения *Тургенева* стали известны в Польше на 10 лет раньше, чем произведения *Толстого* и *Достоевского*; б) «в 1869—1871 гг. два романа писателя — «Отцы и дети» и «Дым» — стали своего рода программными произведениями для формирующегося варшавского позитивизма, то есть критического реализма; эти два романа были чрезвычайно популярны в польской литературной критике и публицистике в 1870—1880 гг.»⁷.

«Польский вопрос» в русской литературе XIX в. исследовал *Т. Шишко*, привлекая для анализа такие произведения, как «Былое и думы» *Герцена*, «Пролог» *Чернышевского*, «Воскресение» *Толстого*, «Братья Карамазовы» и «Идиот» *Достоевского*, «История одного города» и «Современная идиллия» *Салтыкова-Щедрина*.

Т. Шишко видит в *Салтыкове-Щедрине* литературного «политика», близкого в своих исканиях передовой польской интеллигенции: русского писателя называли в Польше 70-х годов прошлого столетия «рупором общественного мнения» (*Szyszko T. Sałtykow-Szczedrin w oczach Polaków // Slavia Orientalis*. 1977. N 3. S. 1—11).

Т. Шишко солидаризируется с *В. Гостомским*, по мнению которого *Салтыков-Щедрин* «умел каждую свою мысль облечь в живой и пластичный образ».

Украинскую литературу много лет исследует *Флориан Неуважный*.

Из польских ученых следует назвать также *Ю. Борсукевича*, который посвятил свое исследование выявлению историко-литературных и теоретических аспектов изучения творчества А. С. Пушкина В. Г. Белинским [Przegląd Rusystyczny. 1986. Zeszyt 1—2 (33—34)].

Исследования по русской литературе и по русско-немецким литературным связям были опубликованы в ГДР. Так, в 1973 г. переиздан учебник для вузов «История русской классической литературы от ее истоков до 1900 г.» (1-е изд. — 1965 г.), в котором освещены периоды развития русской литературы, даны обзоры течений и направлений, монографические главы об отдельных писателях, прослеживаются связи между русской и мировой литературой. В 1976—1982 гг. вышла «История русской литературы» в двух томах. Анализируя этот труд, *Х. Шмидт* дает ему такую характеристику: «Важным отличительным признаком «Истории» является ее новая и самостоятельная историко-теоретическая концепция, а именно: литературный процесс рассматривается в неразрывной связи с общественно-историческим процессом; изучается не только генетическая, но и функциональная сторона литературы, ее воздействие на общественную жизнь»⁸.

В монографии *Михаэля Вегнера* «Немецкое рабочее движение и русская классика»⁹ прослеживается влияние русской литературы на немецкое рабочее движение, а также рассматриваются взаимосвязи русской литературы с немецкой и другими западноевропейскими литературами.

Можно также назвать коллективную вузовскую монографию «Литература на стыке эпох»¹⁰, в которой рассматривается взаимодействие некоторых европейских литератур XVIII — начала XIX в. (польской, чешской, венгерской и румынской) с русской литературой.

В 1980 г. в педагогической школе в Потсдаме *Клаус Дорнахер* защитил диссертацию «История изучения Тургенева в Германии и ГДР», а в 1973 г. в Грайсвальде защищена докторская диссертация *Рудольфом Грегором* по проблеме «Лермонтов в Германии».

Заслуживает внимания международная коллективная монография «Тургенев в Германии», которая является продолжением вышедшего в 1965 г. под редакцией *Герхарда Цигенгайста* первого тома с тем же названием. В этой монографии на основе исследований новых материалов впервые в ГДР сделана попытка раскрыть значение творчества Тургенева для мировой литературы.

Михаэль Вегнер внес свой вклад в изучение творчества Достоевского в связи с историей европейского романа XIX в.¹¹

Творчеству Достоевского в сопоставительном плане посвятили работы немецкие ученые *Эмми Вольф* (кандидатская диссертация о «Братьях Карамазовых». Берлин, 1975), *Вольф Дювель* (монография «Федор Достоевский». Берлин, 1971). Можно назвать еще две работы немецких исследователей, в которых на фактическом материале прослеживается влияние классиков русской литературы на немецкую. Обе работы были представлены на VI международном конгрессе МАПРЯЛ в 1986 г. в Будапеште. Это исследование *Э. Дикмана* «Воздействие творчества Л. Н. Толстого на немецкую литературу XX в.» и *Х. Вальда* «Методы работы над сравнительным анализом произведений Томаса Манна и Ф. М. Достоевского». Э. Дикман изучает влияние Л. Н. Толстого на немецкую литературу XX в. (в частности, Т. Манна, Г. Хауптмана, Арнольда и Стефана Цвейга, И. Вассермана) в двух направлениях: в эстетически-художественном и мировоззренчески-философском¹². Процесс воздействия Л. Н. Толстого на немецких писателей Э. Дикман делит на этапы, обусловленные историческими событиями (революция 1905 г., первая и вторая мировые войны).

В работе Х. Вальда сопоставляются «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского с романами Т. Манна «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус». В результате сравнительного анализа произведений двух выдающихся писателей автор приходит к выводу, что «именно русский духовный, культурный и литературный опыт второй половины XIX столетия (в частности, в лице автора «Братьев Карамазовых») оказал огромное влияние на мировоззренческое и художественное развитие крупнейшего немецкого писателя XX века»¹³.

Эпохам и направлениям русской литературы, а также творчеству отдельных авто-

ров было посвящено в 70-х — начале 80-х годов много работ немецких исследователей. Среди них исследование *Г. Дудека* по русской литературе первых десятилетий XIX в., в котором речь идет преимущественно о поэтическом творчестве декабристов (*Dudek G. Die Dekabristen. Dichtungen und Dokumente. Leipzig, 1975*). Монографии Дудека предшествовали его работы: *A. N. Radiščev und Deutschland. Berlin, 1969; Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1968. Bd. 3.*

Значительный вклад в изучение взаимосвязей и взаимодействия славянских и западноевропейских литератур внесли болгарские литературоведы (*В. Колевский, Г. Германов, И. Конев, К. Шарова, М. Гургулова, А. Анчев, Х. Дудевский*).

В. Колевский — автор более 20 книг о советской литературе, в которых исследуются особенности развития советской и болгарской литератур, разные формы общения между ними с точки зрения истории и современного состояния их развития. Его итоговая книга — «Слово советское» (Пловдив, 1986).

Г. Германов в 70—80-х годах опубликовал книги: «Окровавленный канун» («Болгария и болгары в русской литературе»), «Вершины русской классической литературы», творческие портреты «И. С. Тургенев» и «А. С. Пушкин» (Окървавено навечерие. 1-е изд. Варна, 1976; 2-е изд. София, 1985; Върхове на руската класическа литература. София, 1982; И. С. Тургенев. София, 1980; А. С. Пушкин. София, 1984).

Теоретико-литературное осмысление понятий «связи» и «отношения» находим в работе *И. Конева* «Значение интеграции в литературных связях и их отражение в русско-балканских литературных взаимодействиях в XVII—XIX вв.»¹⁴. К понятиям «связи», «контакты», «отношения», «взаимодействие», «влияние», «восприятие», «коммуникабельность», которые определяют основные формы общения между национальными литературами, *И. Конев* добавляет термин «интеграция», понимая под ним высшую форму общения «между двумя или несколькими национальными литературами, в атмосфере которых и создаются единые культурно-исторические — и прежде всего — идейно-эстетические ценности»¹⁵. Правомерность термина «интеграция» автор доказывает, ссылаясь на историю и богатый опыт русско-балканских литературных (культурных) взаимоотношений в XVIII—XIX вв. (эпоха Просвещения и революционно-демократические движения в России и на Балканах).

В работе *К. Шаровой* «Идейные связи и взаимодействие болгар с общественной мыслью других славянских народов 60—70-х годов XIX века»¹⁶ анализируется национально-освободительное движение в Болгарии, его рост и эволюция с начала XVIII и в XIX в. *К. Шарова* пишет: «В России, Сербии, Хорватии, Чехии, в кругах польской эмиграции в различных странах Европы и самой Турции болгары искали и находили единомышленников среди представителей народа, борющихся за социальную и национальную свободу»¹⁷, а это не могло не влиять на культурную и, в частности, литературную сферу общения.

Проблема контактных связей и типологического сходства, а также различия между некоторыми болгарскими поэтами и Лермонтовым посвящена работа *М. Гургуловой* «М. Ю. Лермонтов в идейно-творческом мире болгарских поэтов»¹⁸. Опираясь на новейшие достижения сравнительного литературоведения, *М. Гургулова* говорит о степени изученности творчества М. Ю. Лермонтова и о его восприятии за рубежом, в частности в Болгарии. Затем прослеживается типологическое сходство между Лермонтовым и болгарскими художниками слова П. Р. Славейковым, Иваном Вазовым, П. К. Яворовым, П. П. Славейковым, Д. Поляновым, Х. Радевским и др.

В 1986 г. в Софии вышел ее обобщающий труд «М. Ю. Лермонтов и болгарская литература». Известно, что в литературах Восточной Европы идет процесс взаимообогащения. На основе старых традиций возникают новые явления, новые системы художественного выражения. Об этом процессе сказано в докладе на IX съезде славистов *С. Божковым* и *Х. Дудевским* («Сравнительное изучение развития советской литературы и ее взаимосвязей с другими славянскими литературами. Основные методологические принципы»¹⁹). На примере судьбы романтизма в России, Польше, Германии и Болгарии авторы доклада выявляют его особенности в зависимости от национальных традиций и исторических условий. В частности, в поэзии болгарского поэта *Л. Левчева* вскрываются некоторые характерные черты освоения творчества Маяковского, Лорки, Арагона и др.

В исследованиях *А. Анчева* «Поэтические традиции Толстого и Достоевского и

болгарский роман» показано, что таким болгарским писателям, как Й. Йовков, И. Вазов, Д. Талев, созвучен эпический мир Толстого. «...К Достоевскому обращаются в 20-е гг. А. Страшимиров и Г. Райчев, а позже Д. Димов и Э. Станев». А. Анчев объясняет этот факт тем, что последние утверждали новое «течение», которое было «в своих коллизиях подчеркнуто более драматичным»²⁰.

Многие аспекты истории венгеро-русских литературных связей освещены в материалах международных конгрессов и симпозиумов. В сообщении И. Феньвешги на V международном конгрессе МАПРЯЛ «Венгерская литература начала XX века и творчество М. Горького» анализируется отношение ведущих венгерских писателей к Горькому. Внимание концентрируется на выявлении внутреннего контакта и типологических связей: истории тем, мотивов, жанров. «Последние рассматриваются при анализе общности и различий идейно-общественного облика, собственно литературных (структурно-стилистических) аналогий и писательского (индивидуально-психологического) склада»²¹.

Традициям Л. Н. Толстого в мировой литературе Адам Фейер посвятил статью «Власть жизни и мечта о совершенстве (К вопросу о месте романа Толстого «Анна Каренина» в мировой литературе)»²². Глубокий и оригинальный анализ романа Толстого привел А. Фейера к выводу, что «монументальность, которая сближает «Анну Каренину» с трагедиями Шекспира, романами Рабле и Сервантеса, драмами Данте и Гете, есть такой плюс, мимо которого нельзя пройти, с которым необходимо считаться...»²³.

Венгерские ученые Мария Рев и Жужанна Зельдхей-Деак сопоставляют творческие методы русских классиков. Исследование М. Рев «Своеобразие видения мира в рассказах Чехова и Мопассана» опубликовано в сборнике Московского университета²⁴. В работе выясняется общность между Чеховым и Мопассаном («объективность и сгущенность повествования, определяющая роль, которую оба автора придают некоторым мелочам»); а также устанавливается различие: в зрелых рассказах Чехова событийность отодвигается, а на первое место выходит внутренний конфликт, что ведет к сокращению темпа повествования («Дама с собачкой», «Учитель словесности»); «изображение природы у Чехова сдержаннее, чем у Мопассана, но вместе с тем более субъективно окрашено»²⁵.

М. Рев пишет: «Чехов более универсален и всеобъемлющ, чем Мопассан. И не случайно Мопассана считают новеллистом XIX века, а Чехова — писателем XX века. Поэтому-то и оказал Чехов такое благотворное влияние на развитие европейской новеллы»²⁶.

В исследованиях венгерских русистов, подготовленных к VI конгрессу МАПРЯЛ под ред. Ф. Паппа и озаглавленных «Лингвистика, литературоведение, методика» (Будапешт, 1986); опубликована статья Жужанны Зельдхей-Деак «Из истории восприятия русской литературы в Венгрии (1850—1860-е годы)»²⁷. В этой статье прослеживается история возникновения и развития интереса венгерских читателей к русской литературе XIX в. (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Тургенев, Некрасов, Шедрин), а также анализируются причины, вызвавшие этот интерес: а) идейный аспект русской литературы, б) деятельность «народно-национальной» школы в Венгрии под руководством выдающегося поэта этой школы Яноша Арань (1817—1882) и известного критика Пала Дьюлаи (1826—1909). Представители «народно-национальной» школы считали, что одна из главных задач литературы — сохранять дух национального единства, а источник национальной литературы они видели в народном языке и народном творчестве. Это побудило их обратиться к произведениям предыдущей эпохи, т. е. к Пушкину-поэту, вдохновленному народной поэзией. Арань перевел на венгерский язык гоголевскую «Шинель», в которой его привлекло гуманное изображение «маленького человека». Под влиянием пушкинского «Евгения Онегина» в Венгрии в 70—80-е годы XIX в. наблюдается развитие жанра венгерского романа в стихах (образец этого жанра — «Ромхани» Пала Дьюлаи).

Теоретические вопросы ставятся в сборнике «Поэтика. Труды советских поэтических школ». Будапешт, составленном Д. Кираи и А. Ковачем. В I томе этого сборника, вышедшем в 1982 г., четыре раздела: 1) Методология и поэтика словесного искусства, 2) Поэзия и проза, 3) Роды и жанры, 4) Принципы анализа литературного произведения.

По данной проблеме заслуживают внимания и исследования румынских русистов. На V международном конгрессе МАПРЯЛ в Праге *В. Шоптеряну* сделал доклад о новых румынских учебных пособиях по русской и советской литературе. «Основной характеристикой лекционных курсов наших преподавателей,— пишет в тезисах своего доклада *В. Шоптеряну*,— было стремление увязать процесс развития русской литературы со спецификой ее восприятия в сознании носителей румынского языка»²⁸. Первые учебники были созданы межвузовскими авторскими коллективами. Каждый университет работал над созданием собственных курсов, и, таким образом, отдельные периоды русской и советской литературы стали освещаться в курсах, изданных Бухарестским, Клужским, Тимишоарским, Ясским университетами. К примеру, назовем литографированный курс лекций *Альберта Ковача* «История русской литературы XIX века» (Бухарест, 1978, 1979). Автор рассматривает творческий путь четырех писателей (Тургенева, Гончарова, Достоевского, Чернышевского) и уделяет внимание откликам на их творчество в Румынии.

Опубликован цикл лекций по русской поэзии второй половины XIX в. *Татьяны Николеску*.

Сравнительному изучению русской и других славянских литератур посвятили свои труды югославские исследователи *М. Бабович*, *Й. Братулич*, *Н. Иванишин*, *М. Йованович*, *Вулетич*, *М. Сибинович*.

М. Бабович является автором трудов о творчестве *Ф. М. Достоевского*, *И. С. Тургенева*, *А. П. Чехова*, *Л. Леонова*, двухтомной монографии о русских реалистах XIX в. На IX съезде славистов в Киеве живой отклик вызвали доклады *М. Бабовича* «Изучение «Слова о полку Игореве» в югославской русистике» и *Й. Братулича* «Русские княжеские жития в контексте ранних славянских литератур»²⁹. Творчество отдельных писателей в сопоставительном плане освещается в работах *Н. Иванишина* «Ф. М. Достоевский и современный хорватский роман» (здесь говорится о влиянии Достоевского на хорватский роман начиная с 1945 г.) и *М. Йовановича* «Тургенев и сербский реализм», в котором прослеживается влияние Тургенева на Светлика Ранковича и Ива Чипико. Анализируя романы *С. Ранковича* «Горный король» и «Сельская учительница» и сопоставляя их с романами Тургенева, *М. Йованович* приходит к выводу, что «у Тургенева и Ранковича проявляются славянские черты характера: почти женская чувствительность, стремление к изучению и изображению людей слабой воли...»³⁰.

II. Историко-литературный процесс и его жанровая специфика

Этой проблеме VI международный конгресс МАПРЯЛ в Будапеште (1986) уделил большое внимание. Достаточно сказать, что основной секционный доклад *Б. Бялокозовича* был назван «Литературный процесс и художественные ценности русской классической и советской литературы».

Аналізу литературного процесса в разные годы посвятили свои работы *П. Зарев* (Болгария), *Г. Юнгер* и *Байц* (ГДР), *А. Хейнрих* (Румыния).

В докладе «К вопросу о структуре литературного процесса», прочитанном на IX съезде славистов, *П. Зарев* отметил: «...художественная литература развивается под действием нескольких факторов: а) социально-историческое состояние общества, б) влияние традиции, в) «автономный» у каждого автора и у каждого направления поиск новых знаково-образных и отражательных возможностей. К этим основным факторам могут быть причислены «психология народа (психические изменения в читательской среде) и влияние других искусств»³¹.

Жанровой специфике литературы посвятили свои исследования многие ученые восточноевропейских стран: жанру рассказа — *С. Велкова* (Чехословакия); повести во всех ее разновидностях — *А. Вечорек* (Польша), *В. Барткевич* (Польша); *Л. Боева* (Болгария); *Е. Логиновская* (Румыния); романа — *Э. Фойткова* (Чехословакия); *Ю. Жук* (Польша); оды — *М. Хармат* (Венгрия), драмы — *М. Рев* (Венгрия); пародии — *В. Сато* (Чехословакия), общей проблематике изучения жанров в русской и чешской литературах в целях преподавания — *Б. Неуманн* (Чехословакия). На нескольких примерах можно показать, как проводится анализ той или иной жанровой разновидности литературы.

С. Велкова (Чехословакия) в работе «О некоторых тенденциях в развитии русского реализма 60-х годов XIX века»³² рассматривает рассказ как доминирующий жанр

переходного времени; обращает внимание на новые проблемы и явления в его тематике, на углубление обличительной направленности на социальную значимость изображаемого, на новый подход авторов рассказов к изображению крестьянства (очевидно, имеется в виду прежде всего Николай Успенский), на простоту композиции, на сближение рассказа с очерком, на объективный характер изображения.

В. Саго (Чехословакия) в статье «Пародия в прозе первой трети XIX века»³³ рассматривает жанр пародии как средство литературной борьбы вокруг вопроса о «новом» и «старом» слоге, как один из полемических приемов в критических статьях и фельетонах, — приемов, особенно эффективных при дискредитации сентиментальных штампов. В этой же работе прослеживается борьба декабристов с устаревшими правилами поэтики классицистов.

Л. Боева (Болгария) исследовала жанровые особенности древней повести. В докладе «Повесть временных лет» — болгарские источники и параллели³⁴ она показала, как русский летописец использовал содержание и жанр житий славянских просветителей Кирилла и Мефодия, болгарские переводы византийских хроник, а также апокрифическую литературу о еретических антифеодалных движениях, что наложило отпечаток на жанр русской летописи.

А. Вечорек (Польша) исследовал типологические свойства жанра русского рассказа на рубеже XIX—XX вв. и пришел к выводу, что в этот период рассказ «становится жанром, сумевшим отразить противоречивость и дробность общественного сознания эпохи»³⁵. Изучив многообразие форм рассказа в русской новеллистике, автор делает вывод, что «рассказ как литературный жанр достиг совершенства и получил всемирное признание»³⁶.

Б. Неуманн (Чехословакия) в статье «Изучение жанров в русской и чешской литературе в целях преподавания»³⁷ прослеживает связь развития жанров с художественным методом в разных эстетических системах. «Русский литературный процесс, — пишет Б. Неуманн, — дал большие возможности для развития аналитического подхода к действительности, который нашел свое выражение в романе. В то время, когда русский реалистический роман достигает полного расцвета, в чешской литературе реалистический метод осуществляется посредством рассказа или цикла рассказов»³⁸.

Рассмотренными проблемами не исчерпывается обзор русистики в странах Восточной Европы. Следует указать на такую форму контактов между учеными разных стран, как совместные сборники, например «Проблемы изучения и преподавания русской классической литературы» (МГУ, 1983), в котором, кроме ученых МГУ, принимали участие литературоведы восточноевропейских стран, или «Русская классическая и советская литература за рубежом (изучение, преподавание, оценка)» // Отв. ред. Е. З. Цыбенко. МГУ, 1988.

¹ IV международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962. Т. I. С. 19.

² Там же. С. 42.

³ См.: Проблемы изучения и преподавания русской классической и советской литературы. М., 1983. С. 108—117.

⁴ Там же. С. 117.

⁵ Там же. Разработке той же тематике с привлечением новых фактов из русской литературы посвятил Б. Бялокозвич секционный доклад на VI международном конгрессе МАПРЯЛ в Будапеште (1986), а также доклад на IX Международном съезде славистов в Киеве о Бодуэне де Куртене и славянских литературах.

⁶ См.: IX международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983. С. 312.

⁷ Там же. С. 312—313.

⁸ VI Международный конгресс МАПРЯЛ. Сборник тезисов. Будапешт, 1986. С. 154.

⁹ Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik. 1900—1918. Berlin, 1971.

¹⁰ Literatur im Epochenbruch. Berlin, 1977.

¹¹ Zeitschrift für Slawistik. 1976. N 21. S. 500—512; Ibid. 1978. N 23. S. 76—83.

¹² VI международный конгресс МАПРЯЛ. Сборник тезисов. С. 41—42.

¹³ Zeitschrift für Slawistik. Akademie-Verlag-Berlin. 1986. Bd. 31. N 3.

- ¹⁴ IX международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. С. 374.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ См.: там же. С. 563—564.
- ¹⁷ Там же. С. 564.
- ¹⁸ VI международный конгресс МАПРЯЛ. Сборник тезисов. С. 39.
- ¹⁹ IX международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. С. 361—362.
- ²⁰ Там же. С. 250.
- ²¹ V международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений. Прага, 1982. С. 476.
- ²² См.: Лингвистика. Литературоведение. Методика. Будапешт, 1986. С. 168—177.
- ²³ Там же. С. 171.
- ²⁴ См.: Проблемы изучения и преподавания русской классической и советской литературы. С. 118—121.
- ²⁵ Там же. С. 121.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ См.: Лингвистика. Литературоведение. Методика. С. 137—146.
- ²⁸ V международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений. С. 532.
- ²⁹ См.: IX международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. С. 224—226.
- ³⁰ Там же. С. 300.
- ³¹ Там же. С. 285.
- ³² VI международный конгресс МАПРЯЛ. Сборник тезисов. С. 28.
- ³³ См.: Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады чехословацкой делегации. Прага, 1986. С. 278—281.
- ³⁴ См.: IX международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. С. 225—226.
- ³⁵ V международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений. С. 443.
- ³⁶ См.: V международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений.
- ³⁷ См.: Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады чехословацкой делегации. Прага, 1986. С. 220—222.
- ³⁸ Там же. С. 221.

Москва

КРАЕВЕД И ФОЛЬКЛОРИСТ В. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

М. С. Ефременков

Научное наследие В. Н. Добровольского значительно. Он является автором четырехтомного «Смоленского этнографического сборника», высоко оцененного его современниками, «Смоленского областного словаря» и свыше пятидесяти работ по различным вопросам фольклора, этнографии и лингвистики, опубликованных в периодических изданиях между 1880 и 1916 гг.

Владимир Николаевич Добровольский родился 30 июля 1856 г. в селе Красно-святском Смоленской губернии и уезда. После окончания в 1880 г. филологического факультета Московского университета он был направлен на работу преподавателем русской словесности Смоленской женской гимназии.

В 1882 г. по состоянию здоровья он уезжает из города и поселяется в имении матери. Затем более тридцати лет занимается сбором фольклорных и этнографических материалов в центральном регионе России и прилегающих к нему губерниях Белоруссии и Украины, главным образом на Смоленщине.

В 1886 г. его избирают членом-сотрудником Русского Географического Общества Академии наук.

Он работал инспектором народных училищ Рязанской и Московской (1902—1906), а затем Смоленской (1906—1917) губерний.

В послереволюционный период (1918—1920) его избирают профессором Белорусского университета и филиала Московского археологического института, располагавшихся в Смоленске, где он читал лекции по истории народной словесности и русского театра. С этими же лекциями он выступал и перед слушателями красноармейских курсов.

Добровольский активно сотрудничал в фольклорно-этнографических секциях губернского и уездных краеведческих музеев.

7 мая 1920 г. жизнь ученого трагически оборвалась.

Творческое наследие Добровольского изучено недостаточно. Не совсем проясненной остается фольклорная ориентация исследователя, хотя его деятельность вызвала интерес еще в дореволюционное время¹.

В послеоктябрьский период имя Добровольского отошло на второй план. Публикуются только отдельные тексты из его собраний². Как исследователя, его упоминают В. Д. Бонч-Бруевич³ и М. К. Азадовский⁴.

Не изучено архивное наследие Добровольского — многочисленные письма К. Г. Залеману, А. К. Карпинскому, В. И. Ламанскому, В. Ф. Миллеру, П. К. Симони, Л. Н. Толстому, А. И. Успенскому, П. В. Шейну, а также его неопубликованные статьи, посвященные анализу ряда фольклорных, этнографических и лингвистических проблем. Эти материалы приоткрывают ранее неизвестные страницы биографии фольклориста.

Хотя Добровольский и пользовался поддержкой Академии наук, материальное положение его семьи было всегда трудным. Научные занятия осложнялись постоянными поисками службы. В письмах, датированных 1894—1898 гг. — периодом интенсивной работы над этнографическим сборником, он с горечью сообщает: «Только благодаря поддержке из Академии наук ... тяну с семьей кое-как»⁵; «Ездил в Москву просить места ... хоть какое-нибудь место учителя русского языка. Живется донельзя трудно. Мысли о нуждах семьи, о больной матери, которой нужно предоставить некоторые удобства, сковывают мозг; работа выпадает из рук, когда подумаешь, что будет с детьми, которых нужно не только кормить, но и учить»⁶; «Хоть не служу, а каждый день, как на службе: аккуратно занимаюсь с детьми — учу их счету, а скоро начну обучать и другим предметам. Занятия мои идут успешно»⁷. «Все сыновья мои, — пишет он в 1919 г., — занимались обработкою земли, находившейся при селе... пахали, скородили, сеяли, молотили, косили»⁸.

Добровольский вошел в науку в 1880-е годы и в его работах обнаруживается влияние общественно-политических веяний того времени, как, например, идеи о необходимости воспитания подрастающего поколения на образцах исторического прошлого своего народа: «Да разовьется в народе и юношестве любовь к историческим памятникам, — сознание, что Родина-мать... дороже всего, а остальное все приложится»⁹.

Эти же вопросы нашли отражение и в «Дополнении к Программе этнографических сведений о крестьянах центральной полосы России»¹⁰, в составлении которой Добровольский принял участие; фольклористика рассматривалась им в тесной связи с жизнью и бытом народа, его культурно-историческим прошлым.

Он отчетливо осознавал значение народных песен и преданий в воссоздании национальной истории. В неопубликованной работе «Предания и язык крестьян с. Выбути Исковского уезда», посвященной жизнеописанию крестьянки Василисы Моисеевны, исследователем отмечено бытование в крестьянской среде устного предания об Ольге и Игоре: «Есть камень в Выбути, недалеко от церкви; половина камня — в часовне, а другая половина — «на воле», и там есть следы, — как будто Ольга Российская стояла на этом камне, и след оставила. Как будто Ольга Российская была переводица на реке Великой и во время перевозки познакомилась с князем Игорем. Она ему понравилась, и он женился на ней»¹¹.

Внимание Добровольского привлекают и события Отечественной войны 1812 г., отношение к ним крестьян: «... — Як зачули мы с дядкой, што в город Смоленск пранцуз идеть, — а што тым за пранцузьё — мы их не видали в глазьё, — во, взяли мы з дядей по дубине, да и пошли в Смоленск...»¹²

В работах Добровольского получили отражение научные принципы его учите-

лей — В. Ф. Миллера, Ф. И. Буслаева, М. М. Ковалевского: сравнительно-исторический метод исследования, признание связи фольклора с мифологией, взаимовлияния разговорного языка и народной поэзии, коллективной природы устно-поэтического творчества.

Исследователем собран и научно обработан значительный по объему лингвистический материал, отражающий диалектные особенности языка русского населения центрального региона России конца XIX — начала XX в.

Направление этих исследований было сформулировано им в Программе этнографических сведений¹³. В этой работе фольклорист основывался «главным образом на данных, почерпнутых ... из наблюдений над живую народную речью»¹⁴. Наряду с пословицами, «приговорами», прибаутками и приметами, а также связанными с ними обычаями и суевериями, он записывал и «меткие выражения, стоящие целого изречения»¹⁵.

Его внимание привлекают и единичные отклонения от общепринятых синтаксических норм произношения в живом разговорном языке: «Язык народный, — делится он своими наблюдениями об офицерском фольклоре в письме А. А. Шахматову, — начинает несколько видоизменяться под влиянием текущих событий и передвижения массы беженцев.

— Мы полярчим, — сказал мне мой собеседник, офицер Донского войска, — в наш обиход вошли польские слова...

Этот офицер сообщил мне, что у них в лицее был такой случай: ученица-воин вошла в комнату офицера.

— Кто пришел? — спросил он у денщика. После некоторого молчания тот ответил:

— Оно пришло, Ваше Благородие!...»¹⁶

С целью наиболее точной передачи индивидуальных особенностей диалектных говоров Добровольский часто прибегал к приему повторной записи фольклорных произведений у одного и того же информанта. «Я заставляю Терешку... — пишет он о сказочнице, — снова рассказать то, что он уже рассказывал... и сделаю наблюдения над случайностями произношения»¹⁷.

Подобные записи давали ему обширный материал и об особенностях процесса импровизации во время исполнения устно-поэтических произведений, что нашло отражение в публикациях их многочисленных вариантов в четвертой части его этнографического сборника и в «Смоленском областном словаре».

В собирательской работе фольклориста были свои творческие радости и свои осложнения, связанные с суеверием народа. Об этом Добровольский рассказал в неопубликованном очерке «Этнографическая экскурсия накануне масленицы».

О явном недоверии некоторых крестьян к собирателю песен, несмотря на все его усилия объяснить смысл своей работы, он сообщал и в письме к П. В. Шейну: «...проезжаю в Рудню, не идут бабы петь песни. Что тут делать? Надо идти самому за ними. Кроют два мужика крышу.

— Послушайте, братцы, отпустите своих баб петь песни.

— Неча сказать, хорошо, ты, пан, уздумав: мы туто-ка будзим крышу крышь, а цобе баб отпустим — дожидайся!

Сказано это было спокойно, с добродушным юмором, но тем не менее мужики с места не тронулись и не показали ни малейшего желания исполнить просьбу.

Мужик плохо верит объяснению собирателя песен; кажется — говоришь ясно для него и убедительно, что и зачем, а он глазами лупает только, а в глазах его светится огонек недоверия, — видно: блуждает какая-то задняя мысль...

Раз хотели мне положить на голову горячий уголь, чтобы узнать, от кого я: от Бога, или же от Черта; если от Бога, то жар на меня не подействует. Не знаю, что было бы со мною, если бы не выручил здешний добродушный, хотя и грубоватый старик, вооруженный суковатым поленом. Не столько испугавшись старика, сколько подчинившись его влиянию, толпа оставила меня в покое»¹⁸.

Возникает необходимость осмысления фольклорно-этнографического наследия ученого, работы которого не утратили актуальности и в наши дни.

¹ См.: П. В. Шейн. Записка об избрании В. Н. Добровольского и Н. Д. Бэра членами этнографического отделения Русского Географического Общества имп. Академии наук // Архив Ленинградского отделения АН СССР. Ф. 104. Оп. 1. № 870. Л. 1—3; Ламанский В. И. О «Смоленском этнографическом сборнике» В. Н. Добровольского // Известия Русского Географического Общества по отделению этнографии. СПб., 1888. Т. 24. № 6. С. 535—550; Пыгин А. Н. «Смоленский этнографический сборник»: Составил В. Н. Добровольский: Часть I // Вестник Европы. СПб., 1891. Т. 6. Кн. 12. С. 851—855; Богданов В. В. В. Н. Добровольский: «Смоленский этнографический сборник» // Этнографическое обозрение. СПб., 1891. № 4. С. 210—215; Этнографическое обозрение. 1894. № 2. С. 198—201; Карский Е. Ф. Разбор этнографического труда П. В. Шейна. СПб., 1899. С. 3; Дурново Н. Н. Диалектологическая карта Калужской губернии. СПб., 1903. С. 1—2; Зеленин Д. К. Народный обычай греть покойников // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1909. Т. 18. С. 269; Источники словаря русских писателей / Собрал С. А. Венгеров. СПб., 1910. Т. 2. С. 273.

² См.: Соболев П. М. Фольклор Смоленского края. Смоленск, 1946; Сказки Смоленского края / Сост. и обр. В. Ф. Шурыгин. Смоленск, 1952; Народное поэтическое творчество Смоленской области: Из «Смоленского этнографического сборника» В. Н. Добровольского / Ред. В. М. Сидельников. Смоленск, 1954.

³ См.: Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве // Советская этнография. 1954. № 4. С. 118.

⁴ См.: Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1963. Т. 2. С. 244, 246, 323.

⁵ Добровольский В. Н. Письмо А. А. Шахматову // Арх. ЛО АН. Ф. 134. Оп. 3. № 469. Л. 40.

⁶ Добровольский В. Н. Письмо В. Ф. Миллеру // ЦГАЛИ. Ф. 323. Оп. 1. Ед. хр. 160. Л. 4 об. 5.

⁷ Добровольский В. Н. Письмо В. И. Ламанскому // Арх. ЛО АН. Ф. 35. Оп. 1. № 537. Л. 16 об.

⁸ Добровольский В. Н. Заявление в Особое регистрационное Бюро при Смоленском уездгорисполкоме по приклассовому положению населения: Примечание к литературе «В» // Гос. арх. Смоленской области. Ф. 743. Св. 5. № 69. Л. 20.

⁹ Добровольский В. Н. Письмо А. И. Успенскому // Отдел рукописей государственной научной библиотеки им. Ленина. Ф. 434. Карт. 3. Ед. хр. 31. Л. 1.

¹⁰ См.: Добровольский В. Н. Дополнение к Программе этнографических сведений о крестьянах центральной полосы России, князя В. Н. Тенишева. Смоленск, 1896.

¹¹ Добровольский В. Н. Предания и язык крестьян с. Выбути Исковского уезда // Арх. ЛО АН. Ф. 134. Оп. 2. № 10. Л. 15.

¹² Добровольский В. Н. Рассказ русского мужика о двенадцатом годе // Арх. ЛО АН. Ф. 134. Оп. 2. № 132. Л. 4.

¹³ См.: Добровольский В. Н. Программа этнографических сведений о крестьянах Центральной России / Сост. кн. В. Н. Тенишев при участии В. Н. Добровольского и А. Ф. Булгакова. Смоленск, 1897. С. 81.

¹⁴ Добровольский В. Н. Письмо Е. Ф. Карскому // Арх. ЛО АН. Ф. 292. Оп. 2. № 45. Л. 1 (1896. 28 июня).

¹⁵ Добровольский В. Н. Письмо В. И. Ламанскому // Арх. ЛО АН. Ф. 35. Оп. 1. № 537. Л. 6 об. (1890. 5 ноября).

¹⁶ Добровольский В. Н. Письмо А. А. Шахматову // Арх. ЛО АН. Ф. 134. Оп. 3. Ед. хр. 469. Л. 31 об. 32 (около 1912).

¹⁷ Добровольский В. Н. Письмо К. Г. Залеману // Арх. ЛО АН. Ф. 87. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 4 (между 1893 и 1897).

¹⁸ Добровольский В. Н. Письмо П. В. Шейну // Арх. Географического Общества СССР. Р. 38. Оп. 1. Д. 15. Л. 9 (1886. Январь).

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ДИАЛЕКТА АФРОАМЕРИКАНЦЕВ

Ю. А. Зацный

Социальная дифференциация языка давно рассматривается лингвистами как своего рода «третье измерение» языка наряду с пространством и временем¹.

Среди социальнообусловленных разновидностей английского языка в США особое место занимает так называемый «Black English» (BE) — диалект социально-этнический, поскольку он является характерной чертой разговорной речи не всех афроамериканцев, а «беднейших и наименее образованных слоев негритянского населения»².

В то же время социальное положение черных граждан США обуславливает включенность в данный диалект значительной части афроамериканцев. Так, по оценкам американских ученых, около 80 % чернокожих жителей США, т. е. более 20 миллионов, широко используют в своей речи BE³.

Неравенство чернокожих предопределило возникновение «субкультуры», под которой в буржуазном обществе понимают «идеи, искусство и образ жизни группы людей, которые отличаются своими идеями от остальной части общества»⁴. Анализ научной и справочной литературы свидетельствует, что наибольшее число слов и словосочетаний BE обозначают понятия «субкультуры улицы», т. е. «субкультуры преступности, проституции, наркомании»⁵. Афроамериканцы, как известно, составляют значительный процент среди тех, кто находится на «дне» общества. Каждый третий негр имеет доход ниже официального уровня нищеты, половина «молодого поколения чернокожих» входит в так называемый «низший класс гетто» (ghetto underclass). Негры составляют всего 12 % населения США, и в то же время почти 50 % «населения» тюрем представлены чернокожими⁶. Естественно, что «субкультура улицы» стала для многих негров единственно возможным «образом жизни», недаром слово Life в BE обозначает именно «уличную жизнь».

Наряду со словом Life для обозначения «уличной жизни» в BE употребляется и слово street, которое в этом значении вступает в характерные специфические словообразовательные и фразеологические связи, примерами которых могут служить слова и словосочетания streetified «хорошо знакомый с нравами улицы», front street «место, где происходят (нелегальные) сделки», streetwise «способный выжить в условиях улицы»; в качестве частичного синонима выступает и слово track, обозначающая мир мошенничества, сутенерства, проституции и т. д.

Приведенные единицы иллюстрируют не только социальндетерминированное «притяжение» синонимов к определенным понятиям, но и присущее BE, как и любому социальному диалекту, использование литературных слов в специфических значениях. О широко распространенной «специализации» литературных единиц свидетельствуют и многие другие примеры: graduate «повышать свой статус в «уличной иерархии» (срав. также schoolboy «новичок в “уличной жизни”»), wildcat «тот, кто активно и с выгодой для себя участвует в “уличной жизни”», young blood «предприимчивая молодежь, познающая нравы “уличной жизни”», bottoms «беднейшие районы города, в которых проживает негритянское население», frontline «часть города, в которой обычно происходят столкновения негров с полицией».

Рассматривая дивергентный материал языка американских негров, А. Д. Швейцер подчеркивал, что ряд единиц BE выполняет «символическую объединяющую функцию», обусловленную сегрегацией афроамериканцев, их вынужденным объединением «в рамках религиозных, социальных и культурных общностей»⁷.

Характерным для BE является, например, употребление слова it в значении «квинтэссенция черной расы, ее духа, чувствительности и т. д.». Слово soul не только в BE, но и в литературном английском языке стало символом «главных качеств черной этничности, недоступных для неафроамериканцев»⁸, вошло в состав целого ряда словосочетаний, как сохраняющих еще свою социально-этническую маркированность (soul child, soul shake, supersoul), так и вышедших за пределы BE (soul food, soul music, soul sister). Роль символа «афроамериканской чувствительности» выпол-

няет в ВЕ также слово *ebony*, которое в разговорном языке общеамериканского стандарта имело значение «негр». Стремление отделить «свой» мир от «чужого» находит, естественно, непосредственное отражение в лексике и фразеологии ВЕ. Так, с одной стороны, здесь отмечается обширная группа слов и выражений с положительной эмотивно-оценочной коннотацией, употребляющихся в качестве обращений (*bleed, blood, baby, brother, cuz, jim, my man*), ритуальных приветствий, рукопожатий (*give some skin, lay some on me, make the fist, soul shake*), обозначений «этничности» (*Afro set, John Henry, member, original, through and through*).

С другой стороны, данным единицам противопоставляются отрицательно-оценочные слова и словосочетания для отражения «чуждого мира», обозначенного в ВЕ словом *okey-dokey* «белые ценности и взгляды», словосочетанием *Uncle Sham*. Это прежде всего большое число синонимов, вводящих понятие белого человека как «босса», а потому как источника зла: *beast, boss Charlie, devil, master dog, Mr. Charlie, fay* и др. Само слово *man* в ВЕ обозначает именно белого человека, в его значении присутствует пейоративный оттенок. С этим словом в языке афроамериканцев создан целый ряд устойчивых словосочетаний, например: *to give the Man the play* «доносить белым», *Hammer man* «властный человек», *Man with the headache stick* «полицейский», *Man with the book of many years* «судья».

В ВЕ можно выделить несколько десятков экспрессивно-оценочных лексических и фразеологических единиц для обозначения «сил закона и порядка», т. е. полиции. Коннотация таких единиц от насмешливо-иронической и саркастической (*deputy-do-right, divine right, Big John, little boy blue, union wage*) до резко отрицательной, подчеркивающей карательные функции полиции, особенно во время «расовых бунтов»: *bust* «громил», *gestaps* «гестаповцы», *mallet* «деревянный молоток», *grab* «хватай», *whips* «кнуты», *nail'em and jail'em* «хватай и сажай».

Нельзя, однако, считать, что для обозначения белых в ВЕ существуют только отрицательно-оценочные слова и выражения. Многие единицы, выделяя в качестве главной черты номинации цвет кожи или волос (*grey, chalk, lily, pink, silk, bale of straw, snow*), если и содержат в своей коннотации долю иронии, насмешки, то не в большей степени, чем слова и словосочетания, употребляющиеся афроамериканцами для обозначения представителей собственной расы в зависимости, например, от степени «черноты» кожи (*banana, casper, blue, black bird, buck wheat, lemon, inky-dinky, midnight, skillet, smoke stack*).

Более того, можно указать ряд слов и словосочетаний с нейтральной и даже позитивной оценкой, употребляющихся по отношению к белым, например: *blue-eyed soul brother* «белый — друг негров», *Miss Amy* «белая девушка», *Miss Lillian* «белая женщина», *Lady Snow* «уважаемая белая женщина» и др.

Заметим при этом, что в американском варианте английского языка употребляется огромное количество слов — пренебрежительных и даже оскорбительных прозвищ чернокожих (*coon, groid, Rastus, shine, spook, sambo, stove lid* и мн. др.).

Во многих случаях семантические сдвиги, происходящие в литературных единицах, которые употребляются носителями ВЕ, непосредственно связаны со стремлением афроамериканцев противопоставить свои расово-этнические ценности ценностям «белых», именно поэтому переосмысление может носить антонимический характер, т. е. когда речь идет об энантиосемии (внутрисловной антонимии), обусловленной социальной дифференциацией языка.

Это особенно касается обшлелитературных единиц, в денотации которых содержится отрицательная логическая оценка. Исследователи отмечают, что для ВЕ характерным является изменение значения в обратном или контрастном направлении, особенно когда «отрицательный оттенок в значении слов в стандартном английском переходит в положительный оттенок»⁹. Так, слово *bad* в ВЕ имеет значение «хороший». С данным переосмыслением связано и функционирование в ВЕ таких единиц, как *baddest* «самый лучший», *bad boy* «умный, привлекательный негр», *bad talk* «разговор или письменное произведение, пронизанное революционными мыслями, призывами к изменениям».

Примерами антонимического переосмысления могут также служить слова *pasty* в значении «доставляющий особое удовольствие», *wicked* в значении «отличный, великолепный», словосочетание *wicked thing* в значении «необычное событие».

Процессу переосмысления в ВІЕ, как будет показано далее, может подвергаться не только денотативный, но и коннотативный компонент семантики, особенно эмоциональная оценка. Положительную эмоциональную оценку получили, например, даже некоторые крайне оскорбительные нецензурные ругательства; другие эксплетивы в языке негров лишились коннотации, стали единицами с широкой семантикой, замечателями многих слов.

Переосмысление некоторых литературных единиц в ВІЕ непосредственно коррелируется с социальным положением негров в США, связано с историческими ассоциациями. В качестве примеров можно привести словосочетание *Mother's Day* (традиционный американский праздник), которое употребляется для иронического обозначения дня выплаты правительственных пособий безработным и иждившим, слово *slave*, имеющее в ВІЕ значение «работа».

Представляют интерес языковые единицы ВІЕ, используемые его носителями для обозначения своей расово-этнической принадлежности, и связанные с ними понятия.

Как известно, в европейских языках предшественники негроидной расы обозначаются интернациональным термином *негго*, однако в американском варианте английского языка этот термин в последние десятилетия практически не употребляется, поскольку для афроамериканцев слово *негго* имеет уничижительный оттенок, ассоциируется с понятием «Дядя Тома» (*Uncle Tom*), т. е. «покорного, раблепного негра». Социально обусловленное сигнификативное значение слова *негго*, таким образом, стало его денотативным значением.

По отношению к предшественникам негроидной расы в американском стандарте в 70—80-е годы было принято употреблять слово *black*, которое после массовых движений афроамериканцев стало одним из символов их борьбы за свои права. Это слово в отличие от слова *негго* в ВІЕ вводит понятие «радикально настроенного негра», поэтому оно входит в целый ряд специфических единиц, особенно устойчивых словосочетаний: *Black 360°* «черный на все 360°», т. е. осознающий свою этничность, выступающий против политики белых, *blow black* «вести радикальные, революционные разговоры»; быть активистом негритянского движения», *black justice* «негритянское самоопределение, настоящее правосудие, в отличие от правосудия белых властей, воспринимаемого в среде революционно настроенных негров как фарс».

Такая идеологическая окрашенность слова *black* и обуславливает стремление заменить его эвфемизмами типа *non-white*, *colored*, *member of minority group*, *member of ethnic group*¹⁰. У. Сэфайр отмечал, что «если белый употребляет словосочетание *black man*, он скорее всего либо сторонник негров, либо, наоборот, расист и вкладывает в это словосочетание свое презрение к неграм»¹¹. В последнее время официальным термином для обозначения чернокожих стали слова *Afro-American*, *African American*¹².

Примечательно, что в ВІЕ широко употребляется и слово *pigger*, которое в американском варианте считается «оскорбительным», а в британском — «крайне оскорбительным словом»¹³. Стремление «бросить вызов» белому истеблишменту привело к полярному эмоционально-оценочному переосмыслению данного слова. В негритянском движении за гражданские права оно стало формой обращения участников друг к другу; позитивная оценка понятия, вводимого этим словом в ВІЕ, реализуется и в составе устойчивых словосочетаний, например: *bad pigger* «негр, отвергающий второстепенную роль, навязанную ему белым обществом», *cowboy pigger* «радикально настроенный негр», *bad ass pigger* «волевой, целеустремленный негр, выступающий против дискриминации».

Положительная оценочная коннотация, как показывают и приведенные примеры, особенно часто реализуется в сочетаниях слова *pigger* с прилагательным *bad*, семантика которого также подверглась антонимическому переосмыслению.

Полярно-противоположную оценку в ВІЕ приобретает и другие пренебрежительные и оскорбительные прозвища негров: слово *сооп* входит в состав распространного выражения *асе сооп бооп* «лучший, надежный друг», слово *боу* в «стандартном» языке считается пренебрежительным обращением к неграм-мужчинам, а в ВІЕ входит в состав словосочетаний, вводящих положительные понятия, например *home boу* «близкий друг»¹⁴.

Слово *pigger* в ВІЕ, в отличие от слова *негго* проявляет не только фразеологи-

ческую, но и словообразовательную активность, участвует в образовании сложных и производных слов, например *nigger-driving*, *nigger-fronts*, *niggerish*, *nigger-box*.

Четко выраженные социальные ассоциации связаны с функционированием в ВЕ словосочетаний со словом *nigger*, возникших во времена рабовладения для обозначения двух основных категорий негров-рабов. Так, словосочетание *field nigger* «негр, работающий на плантации» в ВЕ стало обозначать представителя рабочего класса или «уличного негра» в отличие от «черной буржуазии». Употребление в ВЕ словосочетания *house nigger* «негр, используемый его владельцем в качестве слуги» отражает политику «токенизма» (*tokenism*), т. е. символические уступки со стороны белых властей в связи с принятием закона, запрещающего расовую дискриминацию: это словосочетание служит для обозначения негра, работающего в исключительно «белом» учреждении.

Приведенные единицы являются примерами процесса «перифразеологизации» литературных устойчивых словосочетаний, который, по нашим наблюдениям, активно проходит в ВЕ и служит одним из путей формирования его специфической фразеологии, о чем свидетельствовал и ранее приведенный материал.

С социальным статусом негров связано и создание носителями ВЕ выражения *pale face nigger*, которое употребляется по отношению к неумудряющему белым американцам. Отметим, что и в американском литературном стандарте слово *nigger* стало обозначать представителя «непривилегированных» классов, в британском сленге употребляется словосочетание *green nigger* в значении «ирландец», подчеркивая более «низкий статус» жителей Северной Ирландии.

В ВЕ можно выделить большую группу экспрессивных, обычно отрицательно-оценочных единиц, связанных с социальным расстройством афроамериканцев, подчеркивающих негативное отношение к тем, кто «обуржуазился», стремится выбиться в «средний класс», достичь статуса белых, теряет «этничность»: *boogie* «обуржуазившийся негр», *diddy-bop* «черный буржуа; негр, старающийся подражать белым», *Dr. Thomas* «негр, принадлежащий к среднему классу, стремящийся достичь статуса белых», *butter-head*, *hincty* «чернокожий, позорящий свою расу», *seddity* «негр, пытающийся подражать белым» (от слова *absurdity*). Пренебрежительные прозвища чернокожих *boog*, *boogie*, употребляемые белыми расистами, в ВЕ сохранили свою негативную оценку лишь по отношению к тем, кто «теряет свою этничность», например в словосочетании *faded boogie*. Отрицательная оценочность подчеркивается и лексической единицей *faded*, производной от слова *fade*, обозначающего в ВЕ негра, который «погружается в мир белых и тем самым удаляется, исчезает из мира черных»¹⁵.

Словом *oego* (*oego cookie* — популярное в США печенье, снаружи черное и белое внутри) называют негра, чьи взгляды, образ жизни и цели взяты из общества белых; если слово *brother* служит уважительной формой обращения чернокожих друг к другу, то выражение *pig brother* употребляется по отношению к неграм, предающим своих собратьев.

Среди неологизмов последних лет фигурирует афроамериканизм *sosoput* (*sosoput head*), который также является пренебрежительным обозначением негра, перенимающего культуру белых (коричневая кожа кокосового ореха и белая жидкость внутри), причем эта единица уже употребляется и за пределами ВЕ, в американском и британском сленге¹⁶.

В целом ряде слов и словосочетаний, особенно в антономастических, т. е. содержащих имена и фамилии, которые употребляются нарицательно в качестве символов, выражено презрительное отношение черного населения США к стереотипным представлениям о них у белых, особенно к стереотипу услужливого, покорного негра (*Papcake*, *Sam*, *Uncle Tom*), раболовной негритянки (*Aunt Jane*, *Aunt Jemina*, *handkerchief head*), причем от словосочетания *Uncle Tom* как наиболее часто употребляемого символа покорности в ВЕ образованы глаголы *to Uncle Tom*, *to tom* «вести себя покорно, услужливо», *to tom out* «доносить белым на своих», создан фразеологизм *play the Tom* «вести себя услужливо». Отметим, что и в литературном английском языке от этого словосочетания образованы производные *Uncle Tomism*, *Uncle Tomish*¹⁷.

Не случайно в ВЕ широко распространено слово *shuffle*, которое обозначает негра, преднамеренно изображающего тупого, ограниченного и покорного человека, соответствующего представлениям многих белых американцев (*shuffle* «шаркающая походка» является характерной чертой созданного стереотипа).

Социолингвистический анализ дивергентного лексико-фразеологического материала социолекта афроамериканцев дает возможность уяснить специфику этого диалекта, в частности семантические процессы и явления. Так, для ВЕ характерна социально обусловленная внутренняя широко разветвленная синонимия, в нем наблюдается, с одной стороны, концентрация языковых единиц с положительной эмоционально-оценочной коннотацией вокруг понятий, отражающих ценности его носителей, а с другой стороны, аттракция синонимов с пейоративной эмоционально-оценочной коннотацией к понятиям, отражающим «ценности белого истеблишмента».

Стремление к противопоставлению «своей этничности» и «мира белых» отражается, в частности, в полярном переосмыслении как денотации, так и коннотации некоторых литературных единиц, в возникновении явления энантиосемии.

Наблюдения подтверждают положение, что «неправомерно видеть примат внутренних (имманентных) явлений в структуре языка над влиянием социальных факторов»¹⁸, что необходимо рассматривать социальные факторы и внутрискруктурные закономерности в их взаимодействии.

¹ См.: Домашнев А. И. К истории создания концепции национального варианта языка // ВЯ. 1988. № 5. С. 96.

² Швейцер А. Д. Языковая ситуация в США // Социальная лингвистика и общественная практика: Аспекты социокультурного варьирования полиэтничного английского языка. К., 1988. С. 48.

³ См.: Harvey A. Daniels. Famous Last Words. 2-nd reprint. New York, 1984. P. 153.

⁴ Collins Cobuild English Language Dictionary. London, Glasgow, 1987. P. 1456.

⁵ Green Jonathon. The Dictionary of Contemporary Slang. London, 1984. P. 168.

⁶ См.: Political Affairs. 1988. November. P. 18; Economist. 1990. 3 March. P. 19.

⁷ Швейцер А. Д. Указ. соч. С. 49.

⁸ Green Jonathon. Op. cit. P. 263.

⁹ Шлихт Л. Я. Способы формирования лексики негритянского английского США. АКД. Калинин, 1984. С. 11.

¹⁰ См.: The Second Barnhart Dictionary of New English. New York, 1980. P. 184; Hoggart S. Politics. Fair of Speech. The Uses of Euphemism. Oxford, New York, 1985. P. 176.

¹¹ Safire W. The Language of Politics. A Dictionary of Catchwords, Slogans and Political Usage. New York, 1972. P. 53.

¹² См.: Economist. 1990. 28 July. P. 11; The Times. 1990. 6 November. P. 17.

¹³ См.: Webster's Third New International Dictionary. Springfield, Massachusetts, 1981. P. 1526; Collins Cobuild English Language Dictionary. P. 971.

¹⁴ См.: Safire W. Disapproval and Dinegration // International Herald Tribune. 1990. 29 January. P. 14.

¹⁵ Green Jonathon. Op. cit. P. 89.

¹⁶ См.: Ayto J. The Longman Register of New Words. Harlow, Essex, 1989. P. 74.

¹⁷ См.: Mager N. H. and S. K. The Morrow Book of New Words. New York, 1982. P. 271.

¹⁸ Дешериев О. Д. Теоретические аспекты изучения социальной обусловленности языка // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. М., 1988. С. 19.

**В. В. АГЕНОСОВ. СОВЕТСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН.
М., ИЗД-ВО МГПИ им. В. И. ЛЕНИНА «ПРОМЕТЕЙ», 1989**

Интерес к философской проблематике и формам ее художественного выражения вызвал к жизни ряд серьезных работ, посвященных этому аспекту литературы. Монография В. В. Агеносова, исследующая становление и развитие советского философского романа, вносит существенный вклад в изучение философской прозы: она является первым опытом создания фундаментальной истории советского философского романа. В исследовании Л. Ф. Ершова «Русский советский роман», которое В. В. Агеносов называет исходной точкой своей работы, анализируется только творчество Л. Леонова и частично М. Пришвина.

Структура рецензируемой книги позволяет ее автору рассматривать философские романы Л. Леонова, М. Пришвина, М. Булгакова, А. Платонова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Тендрякова, Ю. Домбровского, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе и А. Кима в свете современных жанровых теорий («Введение»), как определенный этап эволюции жанра («Глава I. Генезис философского романа»). Принципиальная установка автора на исследование советского философского романа в «большом контексте» мировой литературы важна. Глава II книги — «Советский философский роман 20—40-х годов» — открывается анализом тенденций мирового литературного процесса этого периода; в главе III, посвященной типологии советского философского романа 50—80-х годов, обнаруживается сходность онтологических ситуаций в произведениях советской и западноевропейской философской романистики, исследующей духовный потенциал личности, что позволяет глубже рассмотреть отличие концепций мира и человека. Научная продуктивность такого подхода очевидна: он дает возможность анализировать явления советской литературы как неотъемлемую часть мирового литературного процесса, отражающую его типологические закономерности и, в свою очередь, обогащающую мировую литературу своими открытиями. Убедительными представляются выводы исследователя о роли народной смеховой культуры в утверждении оптимистической концепции мира, что характерно именно для советского романа-мифа («Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Закон вечности» Н. Думбадзе).

Читатель книги В. В. Агеносова получает представление об основных этапах развития философской литературы и важнейших положениях работ ее советских исследователей. Автору удалось преодолеть хроническую болезнь литературоведения — терминологическую неоднозначность, по крайней мере, там, где речь идет о проблемах философской литературы. Ученый убедительно доказывает, что из трех уровней понятия «философский», отмеченных советскими литературоведами, только эстетический (предполагающий субстанциальное содержание и «особую форму; соединяющую художественный образ с условно-познавательным началом» — с. 13) является критерием для отнесения произведения к философскому метажанру, тогда как оценочный (когда всякое глубокое произведение именуется философским) и мировоззренческий (выявляющий философские взгляды писателя в связи с определенной доктриной) малопродуктивны.

В монографии аргументированно выдвигается ряд конституирующих признаков художественно-философской литературы: «...наличие субстанциальной идеи, формирующейся и проходящей испытание в такой структуре повествования, художественный образ которой соединяет конкретность с предельным обобщением с помощью системы интеллектуализированных (условных) приемов» (с. 23) — от особых категорий художественного времени и пространства, являющихся субстантными и универсальными, до использования символов, мифов, культурно-исторических реминисценций, антиномий, парабол, способствующих взаимопроникновению образного и логического в повествовании и придающих ему расширительный характер; присутствие героев-идеологов, в образах которых жизненно осуществляется и проверяется идея, и второстепенных персонажей, являющихся их инвариантами или антипода-

ми; особая композиция, направленная на воплощение движения идеи-сюжета, не подчиненная фабульному развитию и потому более свободная, контрапунктная, ассоциативная.

Предлагаемая автором концепция дает научные критерии, позволяющие выделить в особую типологическую общность целый пласт произведений, определить их идеологическую направленность, стилевое своеобразие, плодотворные и непродуктивные тенденции развития.

Исходя из этой концепции, исследователь определяет важнейший жанрообразующий признак философского романа, находящегося по отношению к метажанру в соотношении вида к роду — особую романную ситуацию, в которой испытание художественно изображенной субстанциальной идеи формирует всю структуру произведения.

Исследование генезиса философского романа позволяет автору определить те содержательно-стилевые особенности, которые отличают три его типа: социально-философский, лирико-философский, роман-миф, — и проследить развитие этих особенностей в творчестве советских писателей.

При всей важности теоретической части книги, обобщающей и существенно дополняющей исследование философского метажанра, следует отметить, что конкретный анализ произведений советской философской романистики на всем периоде ее развития, содержащийся в работе, представляет собой не менее серьезный вклад в современное литературоведение.

В разделе работы, посвященном творчеству Л. Леонова, стоявшего у истоков советского философского романа, автор показывает, как в романах «Вор» и «Дорога на Океан» формировались типологические признаки советской философской прозы и мастерство Леонова, художника-философа. Роман «Вор» (в его первой редакции) впервые анализируется с точки зрения философского романа как содержательно-формального единства. Сопоставление с «Дорогой на Океан», где мысль о путях развития человечества и сущности человека революционной эпохи также является сюжетобразующей, демонстрирует типологическую общность «макромира» этого романа и «микромира» «Вора».

Наличие философемы, подчинение сюжета развитию авторской мысли, психологически разработанные и условно-символические «зеркала» приводят исследователя к выводу о синтезе в творчестве Л. Леонова жизнеподобных и максимально условных форм повествования. Дальнейший анализ позволяет увидеть, как «микромир» «Вора» и «макромир» «Дороги на Океан», художественный опыт Ф. М. Достоевского и Н. Г. Чернышевского, синтезируются в «Русском лесе», где писатель осмысливает общечеловеческие субстанциальные вопросы в тесной связи с социальными. Убедителен вывод ученого о том, что эпическая широта проблематики «Русского леса» и его «предельно мыслительная форма» (с. 156) отражатся в гражданском пафосе защиты планеты «Царь-рыбы» В. Астафьева, «планетарном мышлении» Ч. Айтматова; интерес Л. Леонова к проблеме творчества, к столкновению социальных миров воплотится в романах Ю. Бондарева; влияние леоновского мифотворчества ощутимо в моделировании вечных нравственных проблем у Н. Думбадзе и А. Кима.

Однако стремление исследователя распространить влияние социально-философского романа «Русский лес» на «все типологические разновидности последующего советского философского романа» (с. 177) не представляется достаточно обоснованным. Лирическая стихия, отмеченная в «Русском лесе», и не вызывающее возражений определение «Доктора Живаго» Б. Пастернака как лирико-философского романа не являются, как нам кажется, основанием для утверждения типологической близости «атмосферы» (с. 177) этих произведений.

У каждого серьезного исследователя литературы, как и у каждого подлинного творца-художника, есть свои любимые «герои» — писатели, нравственно-эстетическая модель мира которых для него наиболее привлекательна. Можно предположить, что для В. В. Агеносова таковыми являются художники, в произведениях которых создается концепция человека, природы и общества как единого целостного организма, с усиленным вниманием к духовно-личностному началу. Разделы книги, посвященные лирико-философскому типу романа в советской литературе — его создателю М. Пришвину и В. Астафьеву, развивающему в «Царь-рыбе» традиции лирико-философской

прозы, как нам кажется, особенно удалась автору. Излагая концепцию творчества М. Пришвина, В. В. Агеносов показывает движение от лирико-психологической «Кашеевой чаше» к сказово-мифологизированной «Корабельной чаше» как высшему этапу нравственно-философских исканий писателя. Ученый прослеживает типологические связи философской прозы М. Пришвина с предшественниками (В. Ф. Одоевский), современниками (Т. Манн, Л. Леонов), уделяет особое внимание сопоставлению романа-сказки «Корабельная чаша» и романа-мифа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», отмечает те идейно-художественные открытия, которые получили дальнейшее развитие в творчестве советских писателей, в частности В. Астафьева и А. Кима.

Так, В. Астафьева исследователь считает продолжателем не только стилевой, но идейно-художественной пришвинской традиции, обогащенной драматизмом мироощущения писателя последней трети XX в. и выдвинутым на первый план образа автора как жанрообразующей доминанты.

Диапазон исследования включает в себя анализ романов «Чевенгур» А. Платонова, «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Царь-рыба» В. Астафьева, «Белка» А. Кима; в которых философская метафора (миф) является главным структурообразующим принципом, а также анализ произведений, в которых равноправно сосуществуют психологический и условно-мифологизированный планы (при основной нагрузке психологического), что позволяет исследователю обоснованно говорить о синтезе социально-философской тенденции с мифом в романах Ч. Айтматова и «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровского.

Книга В. В. Агеносова не свободна от недостатков, может быть, неизбежных при таком широком диапазоне анализируемого материала. Так, изучение типологических связей «Мастера и Маргариты» М. Булгакова, в котором автор книги сознательно опирается на большое количество работ советских литературоведов и критиков, имеет явно обобщающий, а не собственно исследовательский характер и оставляет ощущение «вторичности».

Тем не менее научная ценность исследования в целом представляется нам бесспорной, так как автору удалось воссоздать бытие советского философского романа как сформировавшегося жанра и явления мирового литературного процесса.

¹ Исторические корни и развитие философского романа подробно анализировались В. В. Агеносовым в книге «Генезис философского романа» (М., 1986).

Н. С. Выгон (Москва)

В. И. ТЮПА. ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ЧЕХОВСКОГО РАССКАЗА. М., ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1989

Можно уверенно утверждать, что в общем потоке литературы о Чехове, особенно интенсивном в последние годы, книжка В. И. Тюпы останется заметным явлением. Жанр ее определен как учебное пособие, адресованное преподавателям вузов, ведущим дисциплины литературоведческой специализации, и школьным учителям — руководителям факультативов по литературе. Однако достоинства книги обусловлены не только методическими соображениями по использованию чеховских произведений в учебном процессе, но в первую очередь оригинальным взглядом на творчество писателя.

В работе о Чехове исследователь дает пример практического применения своей теоретической концепции, наиболее полно изложенной им в книге «Художественность литературного произведения. Вопросы типологии» (Красноярск, 1987). В этом смысле новую работу можно рассматривать как своего рода приложение к предыдущей, убедительно демонстрирующее возможности метода эстетического анализа, одним из теоретиков и активных пропагандистов которого и является В. И. Тюпа.

Несомненно актуален сам предмет исследования — *типология чеховской художественности*, т. е. эстетическая типология того «специфического единства формы и содержания, автора, героя и читателя в литературном произведении» (с. 5), которое в теории литературы сейчас общепризнанно именуется целостностью произведения. Архитектонические формы чеховского художественного мышления всерьез только еще начинают изучаться. Вопрос этот остается в значительной степени дискуссионным. Достаточно вспомнить, насколько различно определяют исследователи эстетические доминанты отдельных чеховских произведений и творчества в целом. Противоречивость суждений вполне объяснима как сложностью самого предмета исследования, так и методологическими затруднениями. Очень часто конечные выводы основываются на неоправданно широком, по существу метафорическом толковании эстетических категорий. В этом отношении рецензируемая работа представляет собой счастливое исключение. То обстоятельство, что ее автор является прежде всего теоретиком, благозвучно сказалось и на понятийном аппарате работы, и на самой логике исследования, и на весомости выводов. В книге даны четкие, теоретически обоснованные дефиниции тех эстетических категорий, которые в дальнейшем используются при анализе; последовательно разграничиваются смежные и в историко-литературных работах нередко мало различаемые эстетические феномены — сатира и сарказм, драматическое и трагическое и т. д.

Кратко охарактеризовав и оценив уже высказывавшиеся суждения о типах чеховской художественности, автор формулирует программу своего исследования. Она предполагает следующие этапы: изучение жанровой стратегии художественного мышления писателя, т. е. способа организации литературного целого; выяснение принципов изображения человека, составляющего «ценностный центр» архитектоники художественного целого; выявление эстетических доминант чеховского творчества, т. е. собственно типов художественной целостности, и уже на этой основе реконструкцию нравственной нормы авторского сознания, что, по мысли ученого, и является конечной целью исследования художественности. Реализации этой программы посвящена собственно исследовательская часть работы.

Теоретический анализ жанровых моделей анекдота и притчи приводит автора к выводу о том, что жанровые истоки чеховского творчества лежат в культурно-исторической памяти именно этих двух жанров. Органичным сопряжением этих во многом противоположных начал, своеобразным «прорастанием» притчи сквозь анекдот определяются все наиболее существенные особенности чеховской поэтики, особая философичность его произведений. Сквозь призму притчи писатель увидел «в анекдотической социальной конкретности... зерно фундаментальных закономерностей человеческой жизни» (с. 32).

Развивая это положение, В. И. Тюпа показывает, что в центре внимания Чехова оказывается не столько характер героя, сколько его личность. Понимая характер как «ролевой, типажный психологический облик, сформировавшийся в системе внешних обстоятельств жизни», а личность как «индивидуальную форму общечеловеческого», «внутреннюю социальность человека» (с. 33), исследователь концентрирует свое внимание на последней. Категория личности обоснованно рассматривается им в качестве фундаментальной в чеховском творчестве, а проблемы духовного самоопределения личности, ее потенциальной широты и глубины как важнейшие для писателя. Здесь, по мысли исследователя, кроется единая основа комического и драматического у Чехова. Напряжение между внутренней и внешней сторонами бытия героя, которое может возникнуть и обостриться или, напротив, ослабевать и исчезать, составляет ядро двух основных типов чеховской художественности — драматизма и сарказма. При этом, подчеркивается в работе, эстетическую доминанту зрелого творчества Чехова составляет именно драматизм.

Рассматривая вопрос о нравственной норме авторского сознания, В. И. Тюпа уточняет широко распространенный в литературоведении тезис (восходящий еще к современной писателю критике) о драматической разобоченности чеховских героев: «Такова (в значительной степени) чеховская картина человеческих отношений, но не их авторская норма» (с. 112). Норма же «может быть определена как духовное единение “личных тайн”, как конвергентность индивидуальных внутренних миров»

(с. 113). Встреча нормы авторского сознания с изображенной действительностью обнажает противоречия между сущностью и существованием человека.

Отличительной чертой рецензируемой работы является стремление автора сочетать анализ чеховских произведений с постановкой и обсуждением теоретических проблем. Такая стратегия исследования весьма плодотворна. С одной стороны, она, несомненно, повышает эффективность анализа, поскольку в поле зрения автора находятся не только отдельные произведения Чехова, но и своеобразии его художественного мышления, основные тенденции творчества и его культурно-исторический контекст. С другой стороны, она способствует совершенствованию методики эстетического анализа, который и по сию пору остается, главным образом, предметом теоретических дискуссий. Между тем эстетический анализ приобретает особое значение именно в практике преподавателя-словесника, поскольку является эффективным средством формирования литературного вкуса и воспитания культуры художественного восприятия.

С. Н. Кузнецов (Омск).

**PROBLEME DER TEXTLINGUISTIK. HRSG.
H. YACHNOW, A. E. SUPRUN. MÜNCHEN:
VERLAG OTTO SAGNER, 1989**

Рецензируемый сборник является результатом научного сотрудничества славистов Белорусского университета им. В. И. Ленина (Минск) и Рурского университета в Бохуме (ФРГ), которое началось в 1984 г. Это первый такого рода совместный опубликованный труд западногерманских и советских лингвистов. Продолжением этой работы должен явиться второй том, который намечен к изданию уже с нашей стороны (рецензируемая первая книга вышла в серии «Specimina philologiae slavicae» как дополнительный, 28 том).

Проблемы «лингвистики текста» в сборнике трактуются весьма широко, с выходом в психолингвистику, литературоведение, логическую семантику и т. д. Учитывая специфику издания, это обстоятельство вряд ли заслуживает критики: разнообразие авторских интересов может удовлетворить разнообразные интересы читателей. Просто надо иметь в виду, что заглавие работы достаточно условно. Но так или иначе объектом исследований является текст (иногда как контекст): русский, древнерусский, польский, немецкий.

Сборник открывает статья А. К. Киклевича «Кванторные местоимения и текст». Автор подчеркивает, что наряду со связующей ролью КМ в тексте (анафора, кореференция) важна и их когнитивная функция (понятийная, модальная семантика), причем этот аспект может быть или не быть коммуникативно обусловленным, что проявляется как на эксплицитном, так и на имплицитном уровнях. Автор аргументирует общий вывод о том, что КМ заслуживают исследования не только в логике и семантическом синтаксисе, но также и под углом зрения прагмалингвистики и лингвистики текста.

Статья В. В. Макарова «Заглавие как культурный актуализатор текста» носит не столько текстолингвистический, сколько филологический характер. Конкретно речь идет о функциональном отношении названия к стихотворному циклу (материалом для анализа служат «Стихи о прекрасной даме» А. Блока, которые сопоставляются, в частности, с несколькими поэтическими циклами В. Брюсова). Очевидно, что высказанные в статье мысли заслуживают внимания и в более общем плане — с точки зрения лингвистики текста, но в данном случае автор ограничивается лишь «культурологическим» аспектом проблемы.

Филологический подход характеризует в целом и работу Н. Б. Мечковской «Труды М. В. Ломоносова по риторике и современная лингвистика текста». Сопоставление ломоносовских «Риторик» (1743 и 1747 гг.) с лингвистикой текста в общем не обнаруживает аналогии: «... замысел и структура старинной риторики не имеют продолжения или аналога в современном знании» (с. 54). Впрочем, у Ломоно-

сова можно найти «поучительные подступы к решениям» ряда проблем лингвистики текста: связности текста, его промежуточных единиц. Можно согласиться, что это естественно вытекает из общности объекта — «текста», но вряд ли на этом основании следует говорить о близости «магистральной темы» риторики и текстолингвистики. Таковую возможно было бы найти в герменевтическом подходе к тексту.

В статье Б. А. Плотникова «Авербальные средства письменного текста» также не нашлось места для упоминания о герменевтическом методе или — поскольку работа носит более конкретный лингвистический характер — о «лингвистике понимания». Это, на наш взгляд, препятствует более глубокому теоретическому развитию и осмыслению весьма интересного материала, ослабляет доказательность целого ряда нетривиальных идей, высказанных в статье. Рассматривая под единым углом зрения самые разнообразные паралингвистические средства в письменном тексте (диакритика, пунктуация, иллюстрации, шрифт, пространственное расположение и т. п.), автор затрагивает различные аспекты коммуникации, которые не оставят равнодушным не только тексто- или психолингвиста, но и многих других представителей теоретического и практического знания о языке. Здесь возникают непростые и очень интересные вопросы, каковы и составляют, пожалуй, главную ценность этой статьи.

В статье А. Е. Супруна и А. А. Кожиневой «К лексической структуре древнерусского текста (на материале Слов Кирилла Туровского)» представлен анализ большого по объему эмпирического материала, реализующий принцип взаимоориентированного исследования парадигматических системных отношений и синтагматической дистрибуции лексических единиц, в чем видится ключ к изучению лексической структуры текста. Идея наличия (и выявления) в текстах парадигматико-синтагматических связей лексем, сопряжения лексической системы языка и лексической структуры текста обнаруживает новый важный нюанс в своем теоретическом содержании: «...интерпретация текста путем построения его лексической структуры, основанной не на принципах и правилах сцепления лексем в процессе порождения текста, а на совокупности смыслов, воплощенных в нем, и отношений между ними, с одной стороны, и, с другой стороны, совокупности лексем, выражающих эти смыслы, и отношений между значениями этих лексем» (с. 113).

Думается, что такой подход, не противопоставляющий смысл и значение, а сконцентрированный на их связи, на отношении «выражения» смысла, не только является продуктивным сам по себе, но и приоткрывает одно из направлений исследования «глубинных» вопросов теории языкознания.

В эти «глубины» нас погружает и статья Я. М. Трёмбовольского «Молчание и текст». Ибо «молчание — один из важнейших элементов мифопоэтической модели мира» (с. 127). Автор занимается вопросами философии языка (не путать с «философскими вопросами языкознания!»), и надо сказать, что его рассуждения не только логичны и оригинальны, но и «провокационны» в позитивном смысле: над ними хочется размышлять. Возможно, не всем читателям понравятся параллели с «пульсирующей Вселенной», но размышлять можно на разных уровнях, а предмет для размышления несомненно есть. Ведь именно молчание нам «позволяет уйти от экзистенциальной ситуации» (с. 135), ибо оно, обладая коммуникативной функцией, в то же время не истинно и не ложно.

Открывающая «немецкую» половину сборника статья М. Фляйшера «Фрагмент и значение (об одном текстовом жанре)» рассматривает действительно специфический жанр художественного текста, в котором «фрагментарность» (предполагающая «конкретизацию») доведена до абсолюта. Материалом для анализа служат два «текста-фрагмента» — русский стихотворный (очень «авангардный») текст «Появление героя» Л. С. Рубинштейна и «кабаре-текст», исполняемый М. Рихлингом. Излагаемые в статье результаты исследования ведут к несомненно интересным теоретическим обобщениям, которые ожидают своего развития и углубления. Это касается тезиса о том, что любой знаковый (коммуникативный) процесс базируется на принципах фрагментарности и конкретизации, понятий «степени значения» (мы бы сказали — «степени свободы значения») и «знаковости» (узуальной закрепленности значений) и др.

В статье В. Гирке «Безагентивный пассив в русском языке» пассивная деагенти-

вация рассматривается как элемент поля децентрализации агенса, коррелирующий с деакционализацией глагола. Работа носит описательный характер и выполнена очень тщательно, так что ее результаты пригодятся как исследователям, так и преподавателям.

Статья К. Хартенштейна «Устойчивые глагольно-именные словосочетания — к вопросу о дефиниции» столь же богато насыщена эмпирическим языковым материалом, как и теоретическими рассуждениями по поводу этого материала и взглядов на него целого ряда отечественных и немецких авторов. Решая поставленную задачу, автор предлагает собственную дефиницию, отражающую характерные синтаксические, семантические и фразеологические признаки рассматриваемых конструкций, которые, однако, не дают синтетического представления о них, т. е. остаются на уровне дистинктивных признаков. Ценно, что тем самым создана эмпирическая предпосылка для последующего функционального анализа и определения объекта.

Единственная в сборнике работа на материале немецкого языка — статья Р. Харвега «Рамочные и безрамочные типы сложносочиненных предложений с “und”». Однако здесь рассматривается явление, интересное не только для германистов, — текстуальная обусловленность структуры паратаксиса. Если учесть, что последний во многом остается не изученным на современном уровне, следует приветствовать «находку» автора, открывшего «сильное взаимодействие» паратаксиса с контекстом. Хотя не все детали нашли отражение в статье (например, воздействие имплицитного контекста), идея в целом заслуживает проверки на материале других языков.

Определенный интерес, на наш взгляд, представляет методологический аспект статьи Х. Яхнова «К вопросу о необходимости фенотипически ориентированной лингвистики текста, а также некоторые предварительные мысли относительно анализа семантики внутреннего дейксиса в структуре текста “Слова о полку Игореве”». Пафос статьи заключен в понятии фенотипического, противопоставляемого «прототипической» ориентации современной лингвистики текста, ибо даже исследования конкретных текстов в их «реальной» структурной целостности, индивидуально коммуникативной действенности носят, по мнению автора, скорее генотипический, чем фенотипический характер. Работа рассматривается автором как всего лишь один из аспектов «тотального анализа» текста, но, конечно, обладает самостоятельной ценностью в методологическом плане.

Статья К. Сапюка «Анализ текста на психолингвистической основе (на материале одного польского дневника)» производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, интересен и сам материал, и замысел исследования — выявить факторы «отклонения от нормы» в текстопорождающей деятельности малообразованного человека, грешащего «многословностью» на уровне выражения. Интересна и попытка построить психолингвистическую модель ситуации. Но с другой стороны, как раз прагматические коммуникативные моменты трактуются, на наш взгляд, слишком субъективно и схематично. В любом случае, однако, материал читается с интересом.

В заключение хочется пожелать коллегам в Минске и Бохуме активно развивать и углублять сотрудничество в их исследовательской и издательской деятельности. Судя по всему, в результате можно ожидать появления не только сборников статей, подобных рецензируемому, но и коллективной монографии, объединяющей авторов для решения одной задачи — многоаспектного и синтетического («тотального») анализа текста. Идей для подхода к такой работе у авторов достаточно.

Ю. В. Попов (Краснодар)

А. М. ШАХНАРОВИЧ, Н. М. ЮРЬЕВА.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИКИ
И СЕМАНТИКИ. М., НАУКА, 1990

Долгие годы, отмечает Д. Слобин, область исследования детской речи «была скучнейшим разделом психологии развития». Трудно поверить в это, читая живо и увлекательно написанную книгу А. М. Шахнаровича и Н. М. Юрьевой, в которой эта область исследования предстает перед читателем не только в качестве интересного раздела психологии речи, но и в качестве ценнейшего источника сведений о речевой деятельности вообще и о ее становлении в частности. Не вызывает поэтому сомнения, что рецензируемая книга органично вписывается в поток современных исследований, посвящаемых проблемам знания языка и речевой деятельности, а также формированию внутренних механизмов ее осуществления. Связанные с понятием языковой способности, эти внутренние механизмы описываются здесь в виде особой функциональной системы, постепенно возникающей у ребенка и упорядочивающей его знания в сферах морфологии и словообразования, синтаксиса и семантики. Авторы книги совершенно справедливо подчеркивают, что «без учета данных о том, как развивается речевая деятельность, как складывается система средств речевой деятельности и каковы структура и природа языковой способности, нельзя строить и адекватную функциональную модель системы языка, нельзя решить многих проблем, связанных с функционированностью языка в обществе» (С. 21—22).

Книгу в целом можно поэтому оценить как убедительно доказывающую необходимость вовлечения данных об онтогенезе речи в общелингвистические исследования, а также как свидетельствующую о ценности сведений, почерпнутых при наблюдениях за детской речью, для решения разнообразных проблем, психолингвистики и лингвистики. Как показывает ее заглавие, книга была задумана как предлагающая психолингвистический анализ грамматики и семантики в онтогенезе речи, но можно утверждать, что по широте рассмотренных вопросов она выходит в какой-то мере за рамки поставленных задач. С одной стороны, такой выход связан с вторжением в семиотические проблемы — ведь подход к значению в этой книге определяется как подход через знак, через знаковую деятельность вообще, через оперирование знаковыми отношениями и т. д. С другой стороны, намечен выход и в когнитологию. Освещение принципов формирования когнитивных структур в их связи с предметной и практической деятельностью ребенка, разграничение когнитивных и семантических структур в онтогенезе проблемы ранней категоризации и т. п. и особенно проблемы языкового знания — все это, несомненно, заинтересует тех, кто занимается когнитивными проблемами.

И, наконец, обращение к роли эмоциональных факторов в развитии ребенка, к путям формирования у него наглядных представлений, к образности в восприятии мира ребенком (особенно в разделе о метафоре), к номинативной деятельности ребенка существенно расширяет горизонты самого психолингвистического анализа и знаменует собой новое в рассмотрении особенностей детской речи. В итоге можно было бы сказать, что исследование семантики обогащено в книге за счет привлечения семиотических данных, рассмотрение грамматики — за счет включения в нее словообразовательных правил и функционирования производных слов, а изучение номинативной деятельности — благодаря обращению не только к средствам и процессам первичной, но и процессам вторичной (метафорической) номинации.

В книге можно, по существу, выделить четыре разных раздела. В первом из них, во Введении, излагаются кратко цели и задачи настоящего издания и характеризуются разные подходы к изучению детской речи. Подчеркивается, что ключевой проблемой в исследовании онтогенеза речи является семантика и что «только через понимание генезиса значения мы поймем внутренние закономерности становления и развития языковой способности человека» (С. 6). Кажется также существенным, что, освещая исходные теоретические предпосылки работы, ее авторы выбирают из творческого наследия Л. С. Выготского и А. Р. Лурия то значительное и то подлинно новое, что, возможно, недооценивалось прежде и что так или иначе оказалось созвучным современным идеям о языке и деятельности человека.

В разделе о языковой способности человека формулируются два центральных вопроса об анализе детской речи: «Каковы способы овладения средствами речевой деятельности и каков источник формирования и развития языковой способности», а весь раздел соответственно можно рассматривать как ответ на эти вопросы. Хочется в то же время подчеркнуть, что фактически эти же вопросы возникают и в более широком ракурсе при анализе общелингвистических проблем. Так, в начале 80-х годов в своей монографии «Знание языка» Н. Хомский утверждает, что для всей современной лингвистики было бы важно ответить на следующие вопросы: каковы структуры ментальных представлений языкового знания; как конкретно используется такое знание и как усваивается, приобретает знание языка.

Рецензируемая книга явно предлагает ответы на вторую и третью из поставленных проблем.

Хотя в разделе о языковой способности последовательно рассматриваются разные процессы в овладении элементами системы языка, и прежде всего процесс генерализации языковых явлений в качестве центрального звена, в структуре самой языковой способности постулируется семантический компонент определения. Он здесь как компонент, обеспечивающий правила выбора адекватного значения (С. 42) и вместе с тем как проявляющийся зависимость от практической деятельности человека и анализа им текущей ситуации (С. 47). По утверждению А. М. Шахнаровича, «семантические структуры берут начало из внешней деятельности и представляют собой результат обобщения и “вращения”, интериоризации этих действий» (С. 48).

Не возражая против этого положения в самом общем виде, я все же хотела бы отметить, что семантические структуры в языке могут, по-видимому, иметь и другое происхождение, т. е. рождаться в силу подробностей самой языковой системы. Конечно, можно трактовать и эти семантические структуры, порождаемые закономерностями осуществления дискурса, как обусловленные «внешней деятельностью», но тогда в понятие внешней деятельности следовало бы включить и такую ее разновидность, как деятельность речевую, чего следовало бы, наверно, избегать.

Если в разделе о языковой способности преобладает изложение теоретических основ психолингвистического анализа, в следующем разделе книги эти теоретические принципы подвергаются конкретизации и уточнению, прилагаясь к такому объекту, как производное слово, и подвергаясь широкой экспериментальной верификации. Тонкость анализа в этом разделе и тщательность обработки в пяти экспериментальных данных несомненно привлекут к нему специалистов по словообразованию, занимающихся «как порождением словообразовательных единиц, так и спецификой их функционирования в речи детей».

Этот раздел «функционирования производного слова в онтогенезе речи» посвящается проблеме овладения ребенком словообразовательным компонентом, который выделяется здесь правильно как отдельный компонент языковой способности и который характеризуется как возникающий лишь в определенный период развития ребенка. Формирование правил словообразовательной деривации представляет собой важный и довольно длительный период онтогенетического развития речи, а сами эти правила составляют самостоятельный компонент языковой способности (С. 73). Существенную часть рассматриваемой здесь концепции составляет положение о том, что словообразовательная деривация в детском возрасте объединяет в единый комплекс аналитические и синтетические процессы. Так, прежде чем построить производное слово по определенным правилам, ребенок проводит анализ ситуации и выбирает главные ее компоненты, подлежащие наименованию, и т. п. Хотелось бы добавить в этой связи, что аналитические и синтетические процессы выступают в определенной связи не только в диаде «ситуация — ее обозначение», но и в диаде «восприятие — порождение производного слова». Когда Н. М. Юрьева отмечает, что «появление производных слов в речи ребенка указывает на определенный процесс ребенка в познании действительности языка» (С. 61), надо подчеркнуть более точно, что значит само «появление производного слова в речи ребенка» и с какого точно момента мы можем говорить об этом «появлении». Простое использование производного слова (как обычного простого слова) остается без последствий для формирования словообразовательных правил до тех пор, пока оно не будет расчленено

(анализ) на его семантические составляющие (т. е. пока ребенок не осознал, что значение данного слова не собрано из отдельных значимых частей) и пока эти составляющие не войдут в новые комбинации (синтез). В итоге не «появление производного слова в речи ребенка, а восприятие слова как членимого производного, а также порождение новых слов на этой основе, становятся детерминирующими моментами в формировании словообразовательных моделей или, точнее, образцов». Для действия экологии необходимо та самая «мотивированность морфемы», о которой уже давно писал А. М. Шахнарович описывая процессы генерализации и указывая на роль в этом процессе наглядных представлений.

С этой точки зрения нельзя, впрочем, согласиться и с положением о том, что «знаки языка используются независимо от своей материальной формы...» (С. 25). Пока материальная форма знака не осмыслена как мотивированная, она не может быть понята и как производная, предпосылкой формирования словообразовательного компонента языковой способности оказывается обязательно особое восприятие материальной формы знака и соотнесение ее отдельных частей с переставляемым содержанием.

Книга завершается небольшим разделом о метафоре в онтогенезе речи, где рассматриваются материалы восприятия и понимания (непонимания!) метафоры детьми разных возрастных групп и комментируются данные соответствующих экспериментов. «Детский бунт» против метафоры, буквальная интерпретация метафоры и т. п. могут, по-видимому, трактоваться и как доказательство несложности полных знаний языка до определенного периода, и как подтверждение тому, что только овладение семантикой троп в полном объеме может считаться свидетельством завершенности этапов складывания языковой способности, без чего реально эта способность еще не сформирована.

Краткие выводы даются в Заключении книги — книги интересной и нужной, книги, из которой почерпнут ценные сведения для построения разных теоретических курсов и специалисты по грамматике, и специалисты по словообразованию и морфологии, и, наконец, занимающиеся семиотикой, когнитологией, проблемами общего языкознания. Хочется отметить в заключение, что настоящая рецензия представляет собой характеристику и оценку книги, увиденной глазами лингвиста. Возможно, именно поэтому в ней уделено основное внимание не столько результатам психолингвистического анализа, сколько «извлечению» тех данных, которые, на мой взгляд, представляют общелингвистический интерес и привлекают к этой книге не только лингвистов, но и более широкий круг исследователей.

Одним из самых ценных свойств научного исследования является его способность показать старые проблемы в новом свете и предложить их анализ с новых позиций. Рецензируемая книга обладает этим свойством и приглашает к дальнейшему обсуждению сложнейших вопросов современной науки в выбранном направлении.

Е. С. Кубрякова (Москва)

В. К. ХАРЧЕНКО. ПЕРЕНОСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА. ВОРОНЕЖ, ИЗД-ВО ВОРОНЕЖСКОГО УН-ТА, 1989

Монография «Переносные значения слова» представляет собой системное исследование метафорического значения слова в русском языке. Она содержит много новых существенных выводов, которые значительно углубляют теорию языковой метафоры. К таким концептуальным положениям следует отнести вывод о том, что метафорические значения объективно необходимы, они выполняют познавательные функции; выводы о путях их развития в онтогенезе и филогенезе; о месте метафорического значения в семантической структуре слова; о системных связях переносного значения; о функциях метафорических значений в различных текстах художественной литературы.

Естественно, что в такой проблемной и многомерной работе имеются некоторые неточности и спорные положения. Вряд ли существительное «сумерки» отвечает обобщен-

ному переносному значению группы «о возрождении, интенсивном развитии чего-либо» (с. 59). Нет уверенности в том, что существительное «жеребец» во времена А. А. Бестужева (Марлинского) могло употребляться в переносном значении «о человеке», тем более в речи брата фрейлейн Луизы фон Клокен (с. 140). На подобных мелких замечаниях нет нужды останавливаться. Полезнее более внимательно рассмотреть некоторые общие определения, предлагаемые В. К. Харченко.

В первой главе образность слова трактуется «как сохранение в мотивирующего признака, внутренней формы». Такое толкование лексической образности требует уточнений. Во-первых, следует оговорить, что всякая образность предполагает сохранение внутренней формы, но не всякая мотивированность образна (ср. «учитель», «школьник», «самолет» и т. п.). Во-вторых, мотивированность интерпретируется вслед за Соссюром как антитеза условности. На с. 30 читаем: «Самые ходовые, употребительные слова являются и самыми условными, немотивированными». Видимо, более справедливо не противопоставлять условность мотивированности, не ограничивать мотивированность производностью основы. Каждая лексическая единица языка условна по соотношению означающего и означаемого знака. «Седок» это не тот, кто сидит в аудитории или на диване; «писатель» — это не тот, кто пишет диктант или жалобу. В то же время каждое слово мотивировано своими системными связями в языке, своими парадигматическими отношениями. Существительное «дом» мотивировано словами «домашний», «домовой», «надомник» и др.; «стол» — словами «столовая», «настоольный» и т. п. Если условность — это отношение одной стороны знака к другой, то мотивированность — это отношение одного знака к другому, отношение между знаками.

В-третьих, сохранение мотивированности, внутренней формы имеет логическим следствием признание образных значений всегда вторичными, производными (с. 11). В принципе, действительно, переносные значения — порождение прямых. Но только в принципе, потому что язык сложнее, многограннее, живее любого принципа. В диахронии безусловно прямое значение предшествует переносному, а в синхронии не всегда так. Существительное «байбак» большинством носителей языка понимается в значении «о человеке», и лишь немногие знают его прямое значение «степной грызун из рода сурков, осенью и зимой впадающий в спячку». Производность, вторичность переносного значения «неповоротливый, ленивый человек» в сознании многих стерлась, утратилась. Интересные факты приводит и В. К. Харченко. В отдельных случаях, по ее наблюдению, «нет оснований считать прямое значение слова источником переносного значения. Такое явление имеет место в производных именах существительных: *летун, мелево, пустышка, свистун, шаркун, щелкун* и др. Человека называют пустышкой отнюдь не по аналогии с детской соской, а потому, что в слове *пустой* уже сформировалось оценочное значение» (с. 66).

В «Заключении» (с. 186—189), где автор пишет о перспективах исследования переносных значений слова, вполне обоснованно ставится проблема создания «общей теории образности слова, теории, впитывающей в себя достижения современной лингвистики» (с. 189). Значительный шаг к такой общей теории сделан монографией В. К. Харченко.

Л. Я. Маловицкий (Череповец)

БАХТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МАХАЧКАЛЕ

В октябре 1990 г. состоялись Бахтинские чтения, организованные кафедрой русской и советской литератур Дагестанского университета. Это третья в нашей стране научная конференция, посвященная выдающемуся философу и филологу (две первые были проведены в 1989 г. в Кемерово и Саранске).

Первый день чтений был посвящен теме: место М. М. Бахтина в современной науке. В докладе «Бахтин сегодня — к итогам конгресса по изучению выдающегося мыслителя» В. Н. Турбин (Москва) проанализировал результаты работы прошедшего в августе 1990 г. в Новом Саде (Югославия) международного конгресса, на котором обнаружился широкий спектр истолкования идей М. Бахтина, позволяющий говорить о своеобразном бахтинском «буме» и в то же время чреватый опасностью восприятия его трудов как «текстов», отрешенных от единства и единственности его личности. О «М. Бахтине в контексте современного постструктурализма» говорил Драган Куонджич (США), подробно остановившийся на сопоставлении концепций русского ученого и Ж. Дериды. «Восприятие идей М. Бахтина западной гуманитарной мыслью сегодня» было темой выступления О. Е. Осовского (Саранск).

В докладе К. Г. Исупова (Ленинград) «Альтернатива эстетической антропологии: М. Бахтин — П. Флоренский» выявлены общие проблемы, волновавшие мыслителей, но подчеркнуто и принципиальное различие между ними в понимании отношений «я» и «другого» и в трактовке способов эстетического подхода к личности. В выступлении Н. К. Бонецкой (Москва) «Мировоззрение М. Бахтина и теория относительности» была предпринята попытка осмыслить бахтинскую категорию «хронотоп» (взятую из арсенала теории относительности А. Эйнштейна) в духе самой этой теории; кроме того, отмечена определенная близость мировоззренческих основ ранних философских работ М. Бахтина с воззрениями широко понятого релятивизма.

Тема второго дня работы конференции — концепция диалога в трудах М. Бахтина. В докладе «Учение А. Ухтомского о доминанте и наследие М. Бахтина» В. Е. Хализев (Москва) сопоставил с ранними работами М. Бахтина труды А. Ухтомского о доминанте, используя ранее не публиковавшиеся материалы из архива А. А. Золотарева. «От “нравственной философии” к теории романа: “диалогизм” М. Бахтина как проблема литературной науки» — выступление В. Л. Махлина (Москва). Он подчеркнул уникальность Бахтина среди мыслителей диалогической ориентации, состоящую, в частности, в том, что Бахтин «перевел» свою философию на «языки» гуманитарных дисциплин, прежде всего литературоведения, дав тем самым мощный импульс развитию конкретных исследований. Д. П. Бак (Кемерово) в докладе «Эстетика М. Бахтина как поступок (Бахтин и современная литературоведческая парадигма)» рассмотрел проблему нравственного обоснования литературоведения в свете работ М. Бахтина.

Эрки Пеуранен (Финляндия) посвятил свое выступление теме «Диспут как форма диалога». Он описал поведение М. Бахтина на одном из диспутов в невеликий период жизни мыслителя. Своеобразие ситуации, по мнению докладчика, состояло в том, что во время этого диспута наблюдалось возвращение к исходным формам диалога, когда слово и действие были неотделимы друг от друга. В докладе «“Хронотоп” как диалог пространства и времени» Н. Т. Рымарь (Куйбышев) рассмотрел бахтинскую категорию не только как онтологическую характеристику образа, но и как форму отношений автора и героя. С. Н. Бройтман (Махачкала) говорил о «Концепции диалога у М. Бахтина и проблеме диалога в лирике». Акцентируя внимание на субъектной природе диалогических отношений у Бахтина, он показал, какие последствия имел открытый исследователем подход для принципиально нового понимания не только эпических жанров, но и лирики. Д. М. Магомедова (Москва) в докладе «Взаимодействие речевых и литературных жанров в тексте лирического стихотворения» показала на материале русской элегии, как развиваются диалогические возможности этого традиционного и «монологического» жанра при использовании первичных форм адресованной речи.

Тема третьего дня чтений — проблемы поэтики и истории культуры в трудах М. Бахтина. *Н. Д. Титарченко* (Москва), выступивший с докладом «К типологии героя в русском романе (постановка проблемы)» предложил ретроспективный взгляд на романы Толстого и Достоевского сквозь призму «Доктора Живаго» Б. Пастернака, синтезировавшего романную традицию классики. Это помогло реконструировать два типа романного героя, в литературе XIX в. часто разведенные, но у Пастернака отчетливо сопоставленные (Живаго — Стрельников) и восходящие к архетипам «дурака» и «героя». *С. А. Мартынова* (Москва) посвятила свое сообщение теме «Русская литература XIX в. как источник концепции человека у М. Бахтина». По мнению докладчика, открытие Бахтиным категории «личность» в ее отличии от «характера» опиралось на те изменения в принципах изображения человека, которые протекали в русской классике.

К. И. Мегаева (Махачкала) говорила о «Поэтике финала в реалистическом романе в свете концепции М. Бахтина». Она проанализировала «двойной» финал «монологических» романов, в которых прямо или скрыто сосуществуют два типа завершения: «закрытый», порождаемый эпическим материалом, входящим в роман, и «открытый», собственно романский. В докладе *К. Г. Ханмураева* (Махачкала) «Концепция романа у М. Бахтина и немецкий романтический роман» было отмечено, как идет М. Бахтина (о неканоничности романа, «бесконечном» герое романтизма и др.) помогают понять романтический роман, еще недостаточно осмысленный наукой. *И. Р. Бабиева* (Москва) проанализировала «Большой диалог в романе «Петербург» А. Белого», используя для понимания романа лекцию М. Бахтина об А. Белом.

Последний прочитанный доклад был посвящен «Народно-смеховой культуре в Дагестане». В нем *А. М. Черциев* (Махачкала) проанализировал ряд фактов, говорящих о наличии в традиционной культуре Дагестана (внешне суровой и сдержанной) мощной и до сих пор живой струи народно-смеховой культуры, впервые осознанной М. Бахтиным.

С. Н. Бройтман (Махачкала).

СОВЕЩАНИЕ «СТАТУС СТИЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ»

В ноябре 1990 г. в Пермском университете проходило республиканское совещание по указанной проблеме. Проведение его мотивировано все более явной переориентацией языкознания от изучения языка в статике к изучению его «в действии», что повлекло за собой развитие ряда новых лингвистических направлений функционально-коммуникативной ориентации. Последнее осложнило положение стилистики в кругу других смежных дисциплин и поставило вопрос о ее статусе в современной лингвистике. Целый спектр взаимосвязанных вопросов очерченной тематики и обсуждался на совещании. В нем приняло участие более ста ученых из разных городов (более 50) и республик страны, а также из-за рубежа.

На пленарные заседания были вынесены доклады *К. А. Роговой* (Ленинград) «Статус стилистики в соотношении с другими лингвистическими дисциплинами», *Г. Я. Солганика* (Москва) «О предмете и структуре стилистики» и др., сформулировавшие ряд проблем, по которым развернулась дискуссия. *С. Гайда* (Польша) в докладе «Стилистика и генология» отметил, что стилистика переживает переходный период; будучи междисциплинарной по отношению к социолингвистике, психолингвистике, прагмалингвистике, она более приспособлена к комплексному изучению языкового поведения людей. В тексте — объекте стилистики — находят реализацию и жанровые образцы, поэтому жанр является одним из центральных, по мнению докладчика, понятий стилистики, а наука о жанрах (генология) — частью стилистики. Выступающий также призвал к созданию истории стилисти-

ческих учений и словаря стилистической терминологии. Идею С. Гайды о трех уровнях типологии текста, а также о текстообразующей деятельности развивала

А. Н. Васильева (Москва) в докладе «О некоторых особенностях функционально-стилистической теории на современном этапе и в ближайшей перспективе». Определив современное состояние стилистики как «набирание сил перед новым скачком», автор считает одной из важнейших задач изучение многочисленных текстовых образований и их стилового взаимодействия с учетом жанрово-композиционных особенностей.

М. Н. Кожина (Пермь) рассмотрела вопрос о статусе стилистики в двух аспектах — ее вкладе в общую теорию языка и месте ее среди других лингвистических дисциплин. Подчеркивались приоритеты стилистики в изучении именно функциональной стороны языка и стимулирование ею появления ряда новейших научных дисциплин. Сопоставительный анализ предмета, целей, методов исследования нескольких смежных со стилистикой дисциплин (лингвистики текста, функциональных семантики и грамматики, социолингвистики) позволил автору заключить, что из двух мнений о состоянии стилистики (кризис — ренессанс) правомерно второе, которое, кстати, согласуется с развитием функционализма в лингвистике, сменой ее парадигмы со структурной на функциональную. В докладе **Л. В. Славгородской** (Ленинград) рассматривался язык науки в контексте культуры, развивался тезис о том, что наука, создавая свой язык, обогащает литературный язык в целом.

Интересным и остро дискуссионным по самой постановке вопроса был доклад **К. А. Долинина** (Ленинград) «Стилистика — единая лингвистическая дисциплина?». Исходя из понимания стиля как выбора не только средств выражения, но и содержания речи, автор утверждает, что стилистика как учение о стилях не является чисто лингвистической дисциплиной, что нет четких границ между обычно выделяемыми стилистикой (функциональной, стилистикой фигур, индивидуальной речи), с одной стороны, и лингвистикой текста, риторикой, герменевтикой — с другой; самостоятельной оказывается лишь ономастологическая стилистика. Последнее мнение разделяет **С. А. Фридрих** (Орехово-Зуево), развивавший в докладе мысль о невозможности объединения в одной науке таких двух разных проблем (и предметов), как исследование функциональных стилей и выразительных возможностей языковых единиц.

В ряде докладов рассматривались проблемы текстовой стилистики. **Н. А. Купина** (Свердловск) стремилась выявить специфику реализации в «текстах-разговорах» некоторых общекатегориальных признаков текста: целостности, связности, законченности. В докладе **Т. В. Матвеевой** (Свердловск) было убедительно доказано различие функциональной стилистики и лингвистики текста, продемонстрирована вариативность в функционировании ряда текстовых категорий (тональности, тематического развертывания и др.) в разных типах текста и сделан вывод о непреложности общих функционально-стилевых закономерностей на уровне текста, что требует комплексных методов исследования. Рассмотрение последней проблемы в более конкретном плане продолжил на секционном заседании **А. Зацгер** (Германия) в докладе «Комплексный анализ научных текстов».

Пленарный доклад **И. Я. Чернухиной** (Воронеж) был посвящен проблеме соотношения культуры речи, прагматики, риторики, стилистики; при этом стилистика (как и прагматика), по мнению автора, является фундаментальной теоретической дисциплиной, основным предметом изучения которой является текст. В вузовском преподавании центр тяжести должен быть в постижении студентами «жизни языка», т. е. его функционирования. На секционных заседаниях проблема соотношения указанных дисциплин и их значения в практике обучения студентов была представлена в докладах **И. П. Лысаковой** (Ленинград), **Г. М. Грехневой** (Горький), **Е. А. Юниной** (Пермь) и др. Тема определения предметов изучения и взаимоотношения социальной лингвистики, фундаментальной стилистики и культуры речи (как научных и учебных дисциплин) прозвучала в докладе **В. Д. Бондалетова** (Пенза).

Большой интерес вызвал доклад *О. А. Лаптевой* (Москва) «Дискуссионные вопросы изучения устной литературной речи в аспекте теории нормы», в котором рассматривались разные позиции в определении сущности разговорной речи по отношению к кодифицированному литературному языку, спонтанной публичной речи и др. Проблеме дифференциации литературной устной речи был посвящен доклад *О. Б. Сиротининой* (Саратов), в котором доказывалось, что функциональная дифференциация устной речи существует, но не совпадает с функционально-стилевой дифференциацией письменной.

На совещании работало 4 секции. Кроме общетеоретической, где прозвучали доклады *Н. Е. Сулименко* (Ленинград), *А. Г. Баранова* (Краснодар), *К. А. Андреевой* (Тюмень), *Т. И. Красновой* (Ленинград) и др., функционировали секции «Стилистика — риторика — прагматика — культура речи», «Функциональная дифференциация языка» с подсекцией «Художественная речь». На наиболее многочисленной секции — по проблемам изучения научной речи — привлекли особое внимание доклады *М. П. Котюровой* (Пермь), *Ю. И. Сватко* (Киев), *Л. М. Грановской* (Баку), *Т. М. Веселовской* (Павлодар) и др.

На заключительной дискуссии были отмечены актуальность и продуктивность совещания, прозвучала мысль, что разделение стилистики на структурную и функциональную соответствует общему положению в лингвистических науках (ср.: структурная и функциональная грамматика), подчеркнута особая перспективность комплексных исследований проблем стилистики.

В. Д. Бондалетов (Пенза), *Т. Б. Трошева* (Пермь)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В сентябре 1990 г. в Смоленском педагогическом институте состоялось республиканское координационное совещание по исторической лексикологии русского языка и русской исторической лексикографии. Его организаторы — ИРЯ АН СССР, Словарный отдел ЛО ИЯ АН СССР и Смоленский пединститут. В работе совещания приняли участие представители академических институтов Москвы и Ленинграда, двадцати пяти педагогических вузов и университетов РСФСР, Белоруссии и Украины.

Пленарное заседание открыл *О. Н. Трубачев* (Москва). В его докладе «Задачи этноязыковой реконструкции (этнонимия, лексика, словообразование, этимология и смоленская специфика)» было предложено несколько лингвистических этюдов (в частности, новая версия о названии города *Смоленск*). В докладе *А. С. Герда* (Ленинград) речь шла о связи регионального языка и исторической лексикологии, об отборе фактического материала и письменных источников для будущего обобщающего труда по исторической лексикологии русского языка. *Г. В. Судаков* (Вологда) также обратился к проблеме выбора источников исторической лексикологии русского языка, указав на значимость и информативность периферийных памятников письменности. Доклад *Т. С. Коготковой* (Москва) посвящен генетическим истокам современной стандартизированной терминологии.

Е. Н. Полякова (Пермь) на материале пермских деловых памятников XVII—XVIII вв. рассмотрела основные тенденции развития лексики на территории Пермского края. В докладе *В. Д. Бондалетова* (Пенза) «Центробежные тенденции в развитии арго» (на материале русских, украинских, белорусских и польских условных языков) показана динамика арготических лексических и словообразовательных систем.

В рамках совещания состоялось семь заседаний двух больших секций — «Историческая лексикология» и «Историческая лексикография». Органической

особенностью секционных докладов было их проблемно-тематическое многообразие, отвечающее как традиционно-устойчивому направлению в изучении истории языка, так и новым направлениям, возникшим в последние годы.

Ряд докладов был посвящен формированию географической терминологии — *А. В. Барандеев* (Москва), *В. С. Картавенко* (Смоленск), *Б. А. Махотин* (Смоленск), *Ю. П. Чумакова* (Уфа). Становлению терминосистем русского языка XVI—XVIII вв. посвятили свои доклады многие участники совещания — *В. Н. Прозорова* (Москва), *Л. П. Рупосова* (Москва), *Г. П. Снегова* (Тверь), *Н. А. Романов* (Смоленск). В ряде докладов — *Н. Н. Парфеновой* (Петропавловск), *З. П. Никулицы* (Кемерово), *О. Н. Бетремеевой* (Смоленск) — рассматривались проблемы антропонимии.

Широта проблематики докладов отражена в их названиях: *В. Г. Демьянов* (Москва) — «Иноязычное слово в диалекте», *М. В. Федорова* (Белгород) — «Праславяне в Юго-Восточной Европе», *В. Н. Туркин* (Днепропетровск) — «Общепородная лексика в отношении к региональной (на материале списков «Русской Правды)», *Л. Г. Панин* (Новосибирск) — «Деловая письменность и культурно-языковая ситуация в Сибири XVII — первой половины XVIII в.», *Т. Н. Кандаурова* (Москва) — «К вопросу о церковнославянизмах русского происхождения», *Р. Д. Кузнецова* и *Н. С. Бондарчук* (Тверь) — «Лингвистическая диагностичность тверских деловых документов конца XVII — первой половины XVIII в.», *Г. Я. Томилина* (Запорожье) — «К проблеме синонимических наименований одежды в старорусском языке XVII в.», *М. В. Орел* (Кемерово) — «Устаревшие лексические компоненты фразеологизмов сибирских говоров», *А. Д. Васильев* (Красноярск) — «К вопросу о стилистической характеристике слов в исторической лексикологии русского языка».

Отдельным группам лексики, отдельным лексемам были посвящены доклады *Р. В. Бахтуриной* (Москва), *О. А. Анищенко* (Москва), *Н. А. Гришиановой* (Мурманск), *З. В. Жуковской* (Псков), *М. Н. Махониной* (Москва), *Т. В. Казаковой* (Харьков), *В. М. Мокиенко* и *М. В. Жуковой* (Ленинград), *С. В. Репневской* (Архангельск), *Н. Д. Сидоренской* (Псков), *Г. П. Стариковой* (Томск), *М. И. Тарасова* (Смоленск).

В докладах, прозвучавших на секции исторической лексикографии, были затронуты многие важные вопросы, связанные с работой в архивах, изданием исторических и региональных словарей: *Л. Я. Костючук* (Псков), *О. В. Борхвальдт* (Красноярск), *И. А. Королева* (Смоленск), *Н. Г. Рябков* (Шадринск), *А. В. Волынская* (Архангельск), *Л. Ю. Астахина* (Москва). Большой интерес вызвали вопросы, связанные с составлением и изданием исторических и региональных словарей. Им были посвящены доклады *В. Ю. Франчук* (Киев), *В. И. Хитровой* (Москва), *Л. И. Захаровой* (Томск), *Л. А. Климковой* (Арзамас), *В. Б. Сузано-вич* (Могилев), *Л. Г. Смирновой* (Смоленск).

На втором пленарном заседании с докладами, посвященными актуальным вопросам исторической лексикологии, выступили *Г. П. Смолицкая* (Москва), *Е. Н. Борисова* (Смоленск), *С. С. Волков* и *О. С. Мжельская* (Ленинград), *О. А. Черепанова* (Ленинград).

На заключительном заседании было принято решение о расширении лексикологической и лексикографической работы в вузе и школе, о целесообразности проведения в рамках факультативов занятий по истории родного края.

В. С. Картавенко, И. А. Королева (Смоленск)

Технический редактор *С. В. Светикова*

Корректор *Л. А. Исаева*

Н/К

Сдано в набор 10.04.91. Подписано в печать 29.05.91. Формат 60×88¹/₁₆.
Бум. офс. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсет. Объем 7,84 усл. печ. л.
8,09 усл. кр.-отт. 9,94 уч.-изд. л. Тираж 2 075.
Заказ 5616. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва,
ГСП-4. Неглинная ул., д. 29/14

Набрано на ордена Трудового Красного Знамени
Чеховском полиграфическом комбинате
Государственного комитета СССР
по печати:
142300, г. Чехов Московской обл.

Отпечатано в Подольском филиале ПО «Периодика»
Государственного комитета СССР по печати:
142100, г. Подольск Московской обл.,
ул. Кирова, д. 25

1 руб. 50 коп.

Индекс 71031

ISSN 0130—0730 «Филологические науки», 1991, № 3, 1—128.